

В молчании над морем

(повесть)

Мам.

Мам.

Кто-нибудь.

Телефон звонит второй раз длинно, протяжно.

Первый не слышала. Чашку мыла.

Вечером чай пили со сливочными вафлями.

Рекламируют что-нибудь или номером ошиблись. Я слышала – раньше так часто бывало, когда родители молодыми были. Спрашивали кого-нибудь, а такого нет. Трубку бросали, и гудки короткие. Никто не объяснял, не извинялся.

Мама рассказывала.

Их квартиру к телефону подключили, когда ей двадцать пять исполнилось.

Двадцать пять. Подумать только. Телефон звонит.

- Мам! – кричу, - мам, может кто-нибудь взять трубку?

По радио звучит застольная песня из «Травиаты», и хочется кружиться по кухне – сегодня проснулась с рассветом от лёгкого и радостного; не от того ли, что впервые за март солнце подсветило задёрнутые занавески ласковым, тёплым?

Папа, привыкший рано вставать и по выходным, заглянул в комнату – Ань, не спишь?

Не сплю.

Вставай тогда – солнце над домами,

Умылась, косичку заплела. Папа сказал, утром мыслям легче – голова свежая, ранняя.

Всегда вставала, слушала папу.

Он добрый, добрый: пошёл в девять к открытию магазина за сливочным маслом. Забыла вчера, забегалась – молоко купила, апельсиновую цедру, даже кондитерскую посыпку. Масло забыла.

- Мам!

Мама заглядывает ко мне – телефон в коридоре, но уже ничего.

- А самой не взять? У нас телевизор, не слышно.

- Я готовлю! – поднимаю руки, испачканные мукой. – Хочешь, чтобы прихожую мыть пришлось?

- Ты, что ли, мыть будешь?

- А кто?

- Так не звонят уже, - мама заходит на кухню, улыбается. У меня перепутано всё, перемешано, вверх дном – миски, вилки, кастрюли, старый ручной миксер. Духовка греется, но окно открыто – тоже впервые, до того боялась сквозняка, пряталась. – Да это реклама какая-нибудь. Про медицину. Однажды по глупости им номер оставила – теперь звонят что ни день. Ругайся, не ругайся – без толку.

- Мам, а сколько в духовке держать? Час?

- А ты поставь вначале на полчаса, а потом спичкой проткни. Если сухая – готов.

Мама начинает убирать посуду со стола – ставит в раковину, включает воду.

- Ты раньше помнила.

- Что?

- Про пироги, про всё. Раньше любила готовить, вечно возилась. Манники пекла, шарлотки. Теперь редко-редко подходишь, да забываешь всё больше.

- Только про время спросила, - закрываю духовку. За прозрачной створкой пирог сырой, непропечённый. Мне кажется, что получится несладкий, клейкий. Правильно ли я отмерила сахар? Полстакана написано, но...

Телефон звонит. Мама выключает воду, вытирает наскоро руки полотенцем.

- Надоели. Сейчас скажу, чтобы не звонили больше. Взяли моду. Пройдите обследование позвоночника. Я и без них знаю, что надо пройти. Покоя не дают в выходные.

Мама выходит в прихожую, прикрывает дверь.

Пирог стоит тихо, незаметно. Я сажусь на корточки перед плитой и смотрю на него.

Скоро ли.

Скоро.

Слышу, как по радио тихо и грустно поёт Виолетта.

Помню, как сидели и слушали на двух рядах балкона. Мальчишки вертелись, передразнивали певцов, тихонечко. Но я слышала. Потом смеялись, когда шли к метро. Причмокивали. Видели, как Альфред Виолетте руки целовал, просил, чтобы не умирала. И хотя потом Виолетта встала и стала кланяться зрителям, мне всё равно казалось, что она умерла навсегда, а веселая и яркая женщина – уже не Виолетта. Шла и думала, а мальчишки плевали на тротуар.

Заглянула в духовку – появилась золотистая корочка. Запахло тёплым, печёным.

Заверну в полотенце, в два полотенца, потом поставлю в сумку и буду идти быстро-быстро – чтобы тепло не растерять. Я поставлю на стол и попрошу у его мамы чашки и блюдца. Она скажет – отдохните, деточка, я накрою. И я пойду в маленькую комнату, и скажу ему – угадай, что у нас сегодня к чаю.

Виолетта поёт грустно-грустно, и от этого хочется дышать тихо, неслышно, еле-еле.

Пирог пахнет сильнее. Я открываю духовку и беру спичку.

Сказала – попробуй проткнуть спичкой. А дальше что?

К спичке прилипает тесто.

За спиной открывается дверь – это, наверное, мама поговорила с кем-то по телефону и вернулась.

- Мам, - не обращаюсь, показываю спичку, - тесто налипло. Ещё полчаса?

Мама почему-то не отвечает, и я обращаюсь.

У мамы странное лицо.

Виолетта молчит.

- Ты попросила их больше не звонить?

Мама молчит. Она не одевалась на улицу – стоит в домашнем халате и смешных цветастых гольфах. На голове – вчерашний пучок. На работу обычно завивается, красит глаза чёрным карандашом и синими тенями – как будто осталась в своей советской молодости, в прошлом. Мне всё равно. Даже нравится, что мама не меняется.

- Звонила его мать.

Я выключаю радио.

- Да? Почему меня не позвала?

- Да зачем же, - мама садится на табуретку, - Ань...

- Что? – я сажусь на вторую табуретку, хотя и боюсь, что пирог подгорит.

- Выключи.

- Что?

- Выключи.

- Ещё не готов. Тесто к спичке пристаёт, ты же видела.

- Говорю – выключи.

Я выключаю.

- Ань, к нему ночью вызвали «скорую». Мать ночь не спала, у телефона сидела. И только сейчас сказали, что...

- Когда?

- В шесть, может быть – в половине шестого. Но мать-то звонила чуть ли не каждый полчаса, и им пришлось...

- Почему она со «скорой» не поехала? Ведь можно было...они всегда берут с собой, если просишь.

Один раз мама сильно заболела гриппом, и её увезли в больницу – и папа, конечно, собрался с ней, а потом привёз обратно её сапоги и дублёнку. И мне так грустно почему-то стало – как будто это дублёнка вернулась вместо мамы.

А с Сашей разве поедет в больницу кто? Мать не поедет, сама еле ходит.

Смотрю в окно. С нашего двенадцатого видны поблёскивающие после вчерашнего дождя крыши пятиэтажек, тоненькие голые ветви, на которых через пару недель появятся почки, а ведь никогда не успеваешь разглядеть и заметить, в какой день началась весна. Вот и теперь не заметила.

Встала в половине шестого, пошла на кухню – увидела, что нет масла. Подумала, что папа, конечно, сходит, и можно полежать ещё немного, закутаться и распахнуть окна. Можно и книжку взять, но книжный шкаф в комнате родителей – пройти неслышно, отодвинуть стёкла. Раньше мне не разрешали самой доставать книги. Шкаф старый – стёкла выпадают. Опасно.

Всякий раз, приходя из школы, вынимала старые красивые альбомы и энциклопедии, раскладывала на полу, разглядывала. Потом убирала, пока не пришли родители.

Встала в половине шестого – и ничего, ничего не почувствовала.

- Почему сейчас? – кричу в открытое окно. Голуби взлетают с карнизов.

- Так всегда бывает, – хочет закрыть окно, но не даю, - Анют, отмучился. И самому тяжело было, и матери, и тебе...

Только не мне, почему – мне.

Я бы выдержала.

Я бы выдержала долго.

- Ты лучше поплачь, Анют, не сиди так.

На кухне пахнет печёным глупо и не к месту, но не могу ничего сделать. Сидели и плакали, а потом вынули пирог из духовки.

*

А с Сашей у мамы никакого сладу не было.

Упрямец одиннадцатилетний, несговорчивый.

Взял что-то – бумажку или ткани обрывок – сжал в кулаке.

Весь съежился, сгорбился – только чтобы не увидела. Если увидит – будет плохо. Станет кричать. За таблетками к соседям побежит. Или его отправит. Довёл, скажет. Беги. Беги, звони в восьмую. Скажи Татьяне, что плохо. Поймёт. Даст таблетки. И принесёт Саша беленький нитроглицерин, да ещё жалостливую улыбку этой Татьяны – она-то, хоть и хранит завсегда сердечное в аптечке, здоровая и крупная, и каждый день на работу в газетный киоск ходит.

И маме предлагала, да там платить обещали меньше.

А то бы согласилась. Всегда выясняла – кто где работает, сколько платят, чтобы при возможности найти себе другое, новое, лучшее, чтобы не приходилось в половину шестого вставать, чтобы к утренней смене успеть. Потому как на метро ехать, а потом на автобусе трястись.

Мама сама жаловалась каждый день – что устаёт, что ноги болят. Она и раньше жаловалась, только Саша не слушал – занимался на полу кубиками.

- Это что? Покажи.

Помотал головой, склонился ниже над столом, пряча.

От мамы пахнет сладким. Это духи. Мама купила духи. Это непрозрачный маленький флакончик на полочке секретера. Нельзя брать. Нельзя дверцу открывать. Замка нет, но там важное. Дорогое. Понимаешь?

Понимал.

Открывал тихонечко, вставал на стул. Когда на работу уходила. Смотрел: брошки с блестящими камешками, янтарные бусы, деревянный браслет – потемневший, гладкий, отполированный; тоненькое золотое колечко. Открытки, билетки, засохшие цветы, карандаши, которыми нельзя рисовать, сладкая розовая пудра в красивой баночке. Духи. Потихонечку брызгал на себя – на запястье, на шею.

Она потом приходила, настороженно оглядывалась, спрашивала – Саш, духи не трогал?

Он мотал головой.

- Убери руки, - говорит мама, - не закрывайся. Что там?

- Ничего, - он не пускает, - не надо...

Мама силком отводит его руки, отпихивает от стола. Он встаёт, опустив голову. Мама держит недошитое маленькое платьице – без рукавов, без пояса. Два шва, кривоватых. Но старался.

Дочь соседки – взрослая девочка Нюра, но у неё есть швейная машинка. Получилось, что подружились, стали друг к другу в гости ходить. Однажды она показала, чему на трудах научилась – как наматывать нитку на шпульку, продевать хвостик в иголку. Показала, как ручку крутить – а от ручки крутится большое серебристое колесо и тянет нитки, заставляя острую стальную иголку пробивать два слоя даже и плотной ткани. Саша часто задумывался – а можно ли сшить картон, или кожу, или драп мамино старого пальто?

Много раз просил, чтобы дала хоть кусочек – ведь сама не шьёт всё равно, а ткань без дела лежит. А ему интересно. Очень.

Потом решился.

Взял сам – из нижнего ящика комода. Ткань хорошая, яркая – тёмно-сиреневая, с люрексом. Нюра сказала – давай только немного совсем отрежем, чтобы не заметила. Саша

взял с кухни ножницы и отрезал чуть-чуть, с краешка – чтобы на платье хватило. Они как-то сразу решили, что будут шить платье Нюриной кукле с рыжими жёсткими кудряшками.

- Это что? – мама держит брезгливо, далеко; потом из-за плохо видящих глаз подносит близко к лицу, - это моя ткань, из комода? Которая на юбку?..

Наклонил голову ещё ниже.

Ножницами отрезать получилось криво, но сложил остальную ткань заново, убрал на место, задвинул нижний ящик. Принёс Нюре, показал. У меня и ниток подходящих нет, сказала она. Знаешь же, что надо нитки подбирать. И по плотности, и по цвету. Тут хлопчатобумажными не сошьешь.

Уговорил попробовать.

Взяли чёрные, нейлоновые. Вроде подошли. Нюра начала, потом уступила место за машинкой. Он и жалел вначале, что закапризничал, не дал девочке одной закончить – и вышло бы аккуратнее, ровнее. Но потом разошёлся, приноровился. И вроде как вышло... ну пусть и не совсем хорошо, но радостно, целенько так. Он любил целое, гладкое. Иногда гладил красивые фарфоровые чашки из сервиза – на рисунок, узор никогда не смотрел, а нравилась одна только гладкость и теплота под пальцами. Так сидел над чашкой как на живым зверьком, над кошкой.

Мама боялась. Даже один раз предложила принести с работы котёнка. Мол, подкинули к гостинице. Саша согласился, обрадовался. Но потом как-то случилось снова огорчить до слёз маму, и о котёнке больше речи не было.

- Ты отрезал, да? – мама тащит за руку к комоду, вытаскивает, почти тычет в лицо тёплой, сладко пахнущей тканью.

- Я с краешка...

Не услышала, развернула на полу, заплакала – некрасиво отрезал, тупыми кухонными ножницами. Плакала недолго. Сходила в ванну – вышла без чёрных ярких ресниц, алого рта, подошла к телевизору и нажала на кнопку. Шла передача, но он её не любил – вначале долго кричат незнакомые люди, а потом выходит кто-то в чёрно-белой маске и рассказывает историю, от которой становится стыдно.

- Mam, ты сердисься?

Мама смотрела прямо перед собой, в экран.

Изображение подрагивало от помех, дергалось. Это из-за антенны, которая на крыше дома – раньше, когда телевизор переставал показывать совсем, Саше хотелось залезть на крышу и попробовать – подергать, пошатать, разобрать. Не то чтобы хорошо разбирался с тонким, точным, механическим – но любил чувствовать под пальцами важную работу, и телевизор был важным.

Смотрели с мамой пластилиновые и кукольные мультфильмы, и такие сказки, в которых люди играли.

Начало передачи мама пропустила – на экране только ведущий и чёрно-белая маска. Саша присматривается к маске, потому что мама не отвечает.

Маска говорит.

Мама не отвечает.

Приучила с раннего детства к молчанию-наказанию, от которого не избавишься, не заплачешь, не закричишь.

Три года назад я познакомилась с одним молодым человеком, который работал слесарем-сантехником. Он три месяца за мной ухаживал. Потом сделал мне предложение. Я ответила ему, что мне надо подумать. Мы сидели в кафетерии «Бриз», около метро. Мы встали, купили с собой два пирожка с яблоком и решили, что не будем видеться неделю, чтобы мне спокойно решить, в своей комнате, в тишине. Я ни о чём не думала, только читала целыми днями журналы. В субботу отец попросил меня сходить на рынок за овощами. И вот там я и встретила симпатичного молодого предпринимателя. У него были красивые глаза и две палатки в районе Кузьминок. Мы полюбили друг друга. Но потом у него стало четыре палатки, и он ушел к другой женщине.

А с тем слесарем-сантехником вы больше не встречались?

Спрашивает ведущий. В зале тишина. Ждут.

- Мам, ты сердисься? – Саша садится рядом на диван. Мама не переоделась – так и сидит в нарядной белой блузке с вышитой кокеткой, в клетчатой юбке. Устроилась на новую работу взамен школы, которую после пединститута ненавидела – официанткой в ресторан дорогой гостиницы. Говорила, что ничего не спрашивали, только на лицо смотрели, на фигуру. Спросили, знает ли английский.

Каждый день белую блузку стирает – нужно ходить красивой, нарядной, а остальное всё в гардеробе дешёвое, скучное, серенькое.

Один раз Саша блузку стирал, когда мама усталая была.

- Мешаешь, - отмахивается, смотрит на экран. И приходится ждать, когда передача закончится и мама пойдёт на кухню пить чай.

Сидят минуту вместе в тишине на табуретках.

- Ладно, чего расселся, - говорит, - неси сумку из коридора.

Встаёт, недоумевая. Ищет дамскую кожаную сумочку в прихожей – она под маминым тяжёлым пальто, и приходится на цыпочки подниматься, чтобы снять.

Только бы не уронить.

Не роняет.

Сумочка лёгкая – носит долго, потому и облупились уголки, потрескался лак. Но дорогая; всем говорит, что дорогая. При нём спрашивали, кто подарил – молчала, улыбалась. Наверное, папа. Больше никому. Так всё думали и кивали понимающе.

- Ты скоро там? Сейчас чай без тебя буду пить.

Несёт сумку на кухню, ставит на стол.

- Саш, сколько раз повторять – на стул ставь, на стол нельзя!.. – быстро встаёт.

- Не кричи, я сейчас... – но она не слушает, берёт в руку, ещё злая, покрасневшая.

Молчит, старается успокоиться. Отчего-то не терпит. Говорит – денег не будет. У них и так немного.

- Ладно, смотри в следующий раз. А я вот тебе принесла...

Достаёт из сумочки завёрнутое в две салфетки пирожное.

- Помялось немного. Ничего, с чаем съедим. Да? – Саша кивает, садится опять. – Извини, я не из-за юбки. Два года не собралась сшить, неужели теперь сошью? Да и ткань такая не в моде. Отдать можешь той девчонке совсем, которая шьёт – Нюре, что ли?

А это я сам, хочет сказать, это мне ткань нужна. Не говорит. Сидят вдвоём на маленькой кухне, и часы над головой тикают.

Делят пирожное ножом пополам, и маме достаётся половинка с алой кремовой розочкой.

*

Хочу помнить всё о Саше, каждую глупость. Как каблук по пути сломала. Как моросило промозглое, мерзкое, ноябрьское – закрывала глаза, хмурилась.

Водили на спектакли часто, каждый месяц – с третьего класса. Без автобусов, а просто собирали после седьмого урока, и шли бестолково к метро, оглядываясь друг на друга, с упаковками кукурузных палочек и полупустыми тёплыми бутылками «Фанты».

- А ну-ка встали хорошо, парами, чтобы я видела, - Анна Владимировна стоит. Она смеётся. Мы в седьмом, нам незачем. Мы парами не встанем, потому что кто-то из мальчишек уже пил водку за гаражами, а девочки красились в туалете на втором этаже красной жирной помадой, одной на всех.

- В метро по сторонам глядите, - говорит Анна Владимировна, - чтобы вместе были, следите. Если кто станцию нашу проедет – пусть пеняет на себя.

- А что будет? – мальчики хихикают, переглядываются. Они почти все в джинсах и дурых чёрных куртках. По моде, по деньгам – школа хорошая, элитной считается, потому что хоть и не центр, но кого попало в первый класс не брали. Смотрели, спрашивали – и читать нужно уметь, и писать печатными буквами, и про погоду, про птиц и зверей понимать. Я понимала, потому что мама и сама учительница, хотя и не в начальной школе. Но часто ходили в Битцевский парк, сидели на скамейке под теплеющим, разгорающимся солнцем, и мама показывала – вот клён, вот липа, вот - тополь, от которого слезятся глаза в июне и хочется кашлять.

Скачет сорока – мелко, скок-скок, не останавливается, в пробивающейся траве жуков ищет.

Воробьи в кустах шуршат, дебоширят – и нет там ничего, ничегошеньки после зимы и холодного марта с апрелем на ветках не осталось, а почки только завязываются, но воробьёв слышно, и не боятся они, хотя мы с мамой близко сидели, разговаривали, оглядывались.

И потому знала веточки и травинки, потому по природоведенью могла без учебника о чём угодно рассказать.

Но потом всё кончилось, и я стою с классом на платформе и жду поезда.

Я в белой блузке под пальто. Блузка мамина, перешитая. За неё вначале смеялись, потому перестали – привыкли. А как злилась в тринадцать на маму, которая покупала всякое на рынке – пёстрое, шерстяное, искусственное, с блёстками, немодное и дешёвое. Хранила с молодости в шкафу юбки и костюмы, сшитые, перешитые, из той самой ткани, которой сносу нет, которая шариками от моли пропахла.

- Что будет, Анна Владимировна? – повторяет Паша, нагло и весело.

- Если проедете станцию – никто искать не станет. Без вас в театр пойдём.

- Не пойдёте, - спокойно говорит Паша. И оглядывается на пацанов, подмигивает, - если кого-то потеряете – вас с работы уволят. Мне папа говорил.

Анна Владимировна не отвечает – громко на платформе, она и не услышать могла. Но слышала, я видела – сжались губы от обиды. Но смолчала, не стала одергивать – Паша с год назад таким сделался, когда у его отца дела в гору пошли.

А я бы сказала? Сказала?

Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – «Цветной бульвар». Учительница кивает мне – пора. И я стараюсь развернуться к дверям, хотя люди с тяжёлыми сумками стоят, не двигаются, словно ничья станция.

Я уже в седьмом классе, но из-за роста кажется, что в пятом. Мама утешает – впереди всё, вырастешь, с самыми фифами сравнешься.

- Анька, снова зад отключила? – Паша говорит громко, чтобы смеялись. И они смеются.

- За собой смотри, - огрызаюсь. Смеются хуже, громче.

Надо мной.

Это из-за хореографии. И ведь прошло полгода, а вспоминают. Мы учили этюд, а учительница ходила и поправляла. И сказала мне перед всеми – ну-ка ровненько стой, не отключивай зад. Многим и похуже говорила. Но запомнили про меня.

Дружки его улюлюкают, подначивают.

Они громкие, поэтому Анна Владимировна оборачивается, пытается успокоить.

- Тише, ребята, мы выходим сейчас.

- Я пошутил, - говорит Паша, - она как бешеная.

Анна Владимировна смотрит – на мои раскрасневшиеся щёки, невытую чёлку, чёрную беретку.

На улице Пашка держится с приятелями, а я разглядываю прохожих. От дождя лица серые, скрытые. У многих зонтики – опавшие, цветастые, потому что от мороси не помогают, а злят только. Женщина ведёт за руку девочку – часто останавливаются вдвоём под моросью, смотрят на красивые машины, читают вывески. У девочки мокрые серые прядки выбились из-под вязаной шапочки, прилипли к щеке – не замечает. На девочке красное осеннее пальтишко, тоненькое и нарядное, короткие лаковые сапожки. На маме – осенний плащ и туфельки не по погоде.

Наверное, у девочки сегодня день рождения, и решили праздник сделать – нарядили как куколки, повели в театр. В буфете купят чай и глазированные коржики.

Мне тоже хочется глазированный коржик. И двести рублей папа дал утром, но пока отстоим очередь в гардероб, пока возьмём номерки – время и пройдёт, а после третьего звонка в зал нельзя заходить.

Помню, как родители водили сюда слушать большие волшебные часы. Так стояли и слушали, стояли и слушали – как маленькие. Я ждала каждого зверя, который появлялся из своего окошка, пальцем показывала – глядите, глядите!

Глядели, пока песенка не заканчивалась.

Сегодня проходим и не смотрим. Возле кассы – афиша и белая табличка.

На белой табличке написано (рассматриваю, прищурившись):

СЕГОДНЯ

И ниже, маленьким шрифтом: «Кармен! Моя Кармен!».

- Ань, не стой, - Анна Владимировна – верно, оттого, что я осталась последней на улице – берёт за руку, подталкивает. Она высокая – приходится задирать голову, чтобы разглядеть сережки с тёмно-красными камушками. Её индийский медный браслет больно врезается мне в руку, но молчу, разглядываю.

Она нестарая ещё. Полная. На уроках не ходит, сидит за столом. Про биологию говорит неискренне, ровно. Про деньги, которые на ремонт класса сдавать нужно, про окна, обеды,

перемены, поведение – спокойно. Даже когда Паша с друзьями принесли в школы ножи и пугали на переменах девочек. Заметила. Попросила отдать. Потом водила куда-то троих – наверное, к завучу. Больше не говорили.

Кармен будет сегодня петь, и танцевать, и шуршать яркими юбками, курить толстые сигары, заплетать волосы. Я знаю, я книжку читала, хотя на литературе не проходили. Зато читаем много стихов, зубрим дома и рассказываем у доски наизусть, часто забывая и коверкая незнакомые слова.

- Беги, снимай пальто.

Анна Владимировна быстро идёт, снимая плащ на ходу.

На мне белая блузка, пахнущая стиральным порошком, красная юбка. Сапоги на маленьком каблучке.

У гардероба смотрюсь в зеркала – бледная. Волосы вчера забыла вымыть, улеглась. Губы не крашу, хотя девочки говорят – пора.

Сажусь последней, с краю. У меня пятнадцатое место. Так на билете написано. Впереди сидит Оля, а Паша далеко.

А потом на сцену выходит мальчик в костюме тореадора.

Мальчик водит куклу, которая кричит, плачет, курит, кокетничает, задирается с солдатами. Поёт.

И мальчик поёт и смеётся. Мне нравится, как он обнимает куклу – как будто они одинаковые, равные, любимые.

А потом кукла уходит от пальчика.

Он не выпускает её из рук – он кукловод и нельзя; но кукла встречается с другим, с другим поёт и смеётся. От этого мальчик делается грустным.

А потом кукла умирает, и мальчик долго держит на коленях черноволосую голову.

Это я убил, говорит.

Это я убил.

Зал молчит.

Анна Владимировна – вижу – качает головой. Жестоко сделано, страшно, не для детей.

Я читала книжку, но не думала, что так страшно. Но Анна Владимировна, кажется, не читала. Иначе как же она не знала, что Кармен швырнула юноше красной цветок, а он приколот его груди, чтобы никогда не расставаться, не потерять?

Спектакль кончается поздно, и Анна Владимировна велела родителям приехать, встретить. Поэтому не жду, пока оденутся, а набрасываю пальто, не застёгивая, выхожу на улицу.

Но папы нет – наверное, только от метро идёт.

Зато на лестнице стоит Паша с друзьями. Они скалятся. Паша ходит жеманно, на цыпочках – сразу понимаю, что изображает, дразнит. Хватает кого-то из дружков, начинает тащить его, точно куклу.

- Моя Кармен! Блядская Кармен! – орёт Паша.

Дети выходят из театра и слушают.

- Заткнись, - говорю, - заткнись.

- Что она сказала? – Пашка оборачивается, но ко мне подходит папа. Он не слышал.

- Всё хорошо, театралы?

- Здравствуйте, - Паша кивает и спускается по ступенькам.

Мы тоже идём, медленно.

Папа слегка замёрз, и нос покраснел.

- Постоял возле метро, покурил. Решил – по времени успеваю. Давно ждёшь?

- Только вышла.

- Застегнись. Это кто был? Приятель?

- Приятель.

- Понравилось? Спектакль?

- Да. Красиво пели. И там был мальчик, он куклу водил.

- Разве тут дети играют?

- Не знаю.

Дома тихо, телевизор бормочет своё. Мама лежит на диване – после родительского собрания усталая, разбитая. Раньше я танцевала ей, босая, на ковре – радовала. Мама начинала улыбаться, а потом вставала смыть косметику. Теперь танцевать глупо, и папа один несёт чай.

- А знаете, как мы сделаем? – говорит папа. Из-за собрания нет ужина, но ничего, - сейчас моё фирменное блюдо приготовлю. Хотите?

Мы хотим. Маме наговорили на собрании плохого – что в тетрадях ошибки пропускает, что дети на уроках выходят и бесхозными по коридору слоняются, что на ремонт школы деньги плохо сдают. И если Анна Владимировна всегда спокойная сидит, то мама и заплакать может.

Раньше я хотела, чтобы она в моей школе работала. А теперь думаю – как родители Паши заявили бы к ней в кабинет, как встали у стола, стали бы обвинять, говорить. Руки распускает. Ругается. Дочь учительницы. И мама бы плакала.

- Анют, помогай, - папа кричит с кухни. Помогать легко. Надо чистить картошку, резать на дольки, класть на противень. Мазать майонезом. Выйдет вкусно – папа всегда картошку делает, когда мама плачет и не может готовить.

Через полчаса она приходит сама. Щеки красные. Но умытая, в халате.

Едим печёный картофель и пьём чай.

- Может, уволишься? – говорит папа. Всякий раз спрашивает. Всякий раз мама молчит. Берёт клюквенный пряник. Утром снимет бигуди, подкрасит рыжим карандашом брови. Успокоится.

Мама моет посуду, чтобы не плакать.

Я ухожу в свою комнату рано, не мешаю. Будут разговаривать. Потом телевизор громче включают.

*

- Помогать пойдёшь, - говорит ему мама. Нервничала, губы красила перед зеркалом, смешное лицо делала. Помада обычная, яркая, какую купила сразу же, как устроилась. Объяснила, что надо каждый день красивой приходиться.

Посмотрела на Сашу – на лицо, волосы, руки.

- Одевайся.

Саша перед шкафом стоит, на полку свою в шкафу смотрит. Аккуратно сложенная школьная форма, белая рубашка, тёплый свитер.

- Рубашку надень. Брюки школьные погладил? А то вечно запущенным ходишь.

Саша кивает. Погладил, ещё с вечера. Он не ходил запущенным, просто не задумывался.

- Давай, надевай.

Оглядывает с ног до головы, кивает – сойдёт.

- Постой немного, причешу.

Мягкой щёткой проводит несколько раз по волосам – медленно, осторожно приглаживая кудряшки. Говорила раньше – красивый, золотоволосый. Над кроватью сидела, гладила, когда болел.

- Лохматый. Мылся вчера?

- Мылся.

- Теперь волосы не продерёшь. И с чего это они у тебя вьются? Иди, руки вымой – под ногтями чтобы чисто было.

Саша идёт в ванную, открывают горячую воду – долго смотрит, как тоненькая белёсая струйка разбивается об эмаль. Сколько помнит – всегда вода бежала медленно, тускло, слабо. Это из-за высокого этажа.

- Саша! – кричит мама из-за двери, - опоздаем! Давай скорее.

- Сейчас, - бормочет сам себе, подставляет руки под струю, держит. Знает, что можно не стараться. Выходит из ванной с мокрыми руками.

- Чего? Обрызгал рубашку? Ладно, дорогой высохнет. Улыбайся, не трясись, не разговаривай. Ты какой язык в школе учишь?

- Немецкий.

- Почему немецкий?

- Ты так решила.

- Не помню. Немцы там будут. Но ты всё равно молчи – вдруг в школе научили неправильно. Сморозишь глупость, потом расхлёбывать. Молчи, и всё. Ты милый, все подумают, что ты красивый и глупый мальчик. Будешь напитки приносить, закуски. Ничего сложного. Какой-то договор они заключили важный, празднуют. Понял?

- Понял.

А он на уроках немецкого говорит бегло и красиво, почти не ошибается – учительница хвалила, даже в дневнике написала. Мама не видела.

Они долго едут на метро, потом ждут на остановке троллейбуса. Мама надела пальто в «ёлочку», которое на первую зарплату в «Детском мире» купила – и так радовалась, что даже по квартире в нём ходила, без конца подбирала старые платки и шарфики, а потом расстроилась, что ни один не подходит.

Потому и теперь стоит, нервничает – в каракулевой шапке, которую много зим носила, в пуховом платке вытертом. А пальтишко тоненькое, не для зимы.

- Давай руку.

Но Саша сам забирается в переполненный автобус, сам проходит вперёд, хватается за поручень у окна. Вырос, вырос. В прошлом году не дотягивался. Мама заходит растрёпанная, нервная.

- Все ноги оттоптали. Что за люди.

Едут в молчании, долго-долго, а потом в окна показываются большие здания с красивой подсветкой.

- Гостиница «Спутник», - читает Саша, - значит, здесь работаешь.

- Да, да. Не болтай, иди к выходу. Сейчас остановка.

Людей меньше, и Саша бежит по салону – первым спрыгивает на рыхлый, подтаявший снег. Они заходят в гостиницу – но не с парадного крыльца, но обходят сзади, ищут дверь. Она незаметная, неяркая. Ни вывески, ни надписи. Саша бы не нашёл одни.

Идут по коридору, пахнущему сыростью. Это прачечная, говорит мама. Подвал. Нам выше.

Они снова поднимаются по лестнице. Там мама заводит Сашу в маленькую комнату, в которой пахнетпряно и сладко – женским. Так пахнет мамина одежда, её полки в шкафу, её косметичка – а здесь отчетливее, яснее, приторнее. Какая-то женщина стоит лицом к стене – оборачивается, вскрикивает, закрывается руками. Она в чёрной юбке и в бюстгальтере.

- Валь, ему только двенадцать, - говорит мама. Сама не переодевается, только снимает пальто и вешает на крючок, - не пугайся.

- Двенадцать, - женщина медленно опускает руки и смотрит на Сашу.

И стыдно, так стыдно.

Не знал, что так.

- Роста высокого, - говорит женщина, - для двенадцати.

- Да, с садика такой. Саш, не стой. Снимай куртку.

- Ишь ты – в рубашке, - женщина смотрит, - помогать будет?

- Ну да. Ты же Машку приводила, вот и я решила...

- То девчонка. А это парень, не для парня занятие... Дело твоё.

Мама поправляет Сашину рубашку, ещё раз приглаживает волосы. Моё, говорит, моё дело. Что ж он, водки гостям не принесёт?

И выходят вдвоём в огромный зал, где начинают собираться мужчины и женщины, красивые женщины, совсем не похожие на ту, из раздевалки. Некоторые из них в похожих чёрных юбках и платьях, но других – блестящих, гладких. Все разговаривают – знакомые слова мешаются с полужнакомыми, с незнакомыми, с кашлем, смехом, шепотом, звуком вылетевший из бутылки пробки; слышно, как крошки падают на пол.

Мама говорила – не смотреть?

Они смотрят.

Саше страшно, что смотрят.

Мама сказала – хорошенький мальчик.

Но они не смотрят как на хорошенького мальчика – а как-то больнее, острее, громче, громче...

Он хочет закрыть уши ладонями.

Маленькая девушка в баре не улыбнулась, не умилилась. Поднос дала. Осторожно неси, сказала. И он понёс.

Больше не глядели.

- Was für schöner Junge, nicht war? – Саша принёс в десятый или в пятнадцатый раз серебристый блестящий поднос, поставил на край стола маленькие запотевшие рюмки. Они почему-то не пили вина, только водку, и как-то нарочно хохотали, по-своему выговаривая русское слово – «wodka». - Wo ist deine Mutti geblieben?

И женщина, женщина со светлыми, убранными в высокую причёску волосами, улыбнулась, а потому вдруг встала из-за столика и взяла Сашу за руку.

- Ты здесь один?

Саша близко-близко увидел её глаза – такие же, как у мамы, с красноватыми жилками, будто плакала долго.

- Вы русская разве?

- Конечно, русская. Я переводчица. Так ты один? Работаешь? – не выпускала его руку, сжимала больно, - разве тебе можно работать?

Немец смотрит – у него выглаженная клетчатая рубашка, красноватая, яркая, и некрасивый толстый нос.

- Я маме помогаю. А вы?

Женщина отпускает его руку. Долго смотрит на немца, которому неинтересно, который вилкой размешивает винегрет в тарелке, отодвигая на краешек крупные кольца лука.

- Я тоже, - говорит женщина.

Он оглядывается, ищет глазами маму и не находит.

Он приносит водку, и воду, и сок, но больше никто не заговаривает, не смотрит. Он ставит серебристый поднос на барную стойку и выходит в коридор.

Где комната, маленькая комната, пахнущая розовой пудрой и духами, и мамой?

Прошёл коридор, второй коридор. Номера на дверях – 211, 213. И дальше. За какой дверью? Откуда они вышли?

Саша без разбору дергает ручки, но везде закрыто.

Бежит на лестницу.

Вниз.

Внизу.

Они поднимались.

Точно. Пахнет сыростью, мокрым бельём. Это прачечная.

На подоконнике сидит рыжая девочка.

- Привет, - он останавливается и не знает, что дальше.

*

Они ждут возле кабинета труда. Сидят на подоконнике, посмеиваются. Пашка, Руслан и Азиз. Иду мимо, сквозь – не замечая, не оглядываясь. Держаться надо. Держаться, вида не показывать.

- Э, - Руслан не встаёт, ленится, - подойди.

Крепко придерживаю ляжку ранца, иду. Мимо. Не обращаю внимания, хотя знаю – заставят. Но перед тем, как заставят, нужно мимо пройти.

Не смотреть.

- Подойди, говорят. Оглохла?

У Руслана чёрная футболка, кожаный рюкзак и телефон-раскладушка. Первым не подойдёт. Остальные подлаживаются, важничают.

- Чего тебе? Сейчас звонок будет.

- Ты моего друга ударила. Надо бы объясниться.

Я не останавливаюсь.

Я хочу идти на урок, но теперь-то встают втроём, окружают.

- Разит от неё, - Пашка морщится, - мамамиными духами набрызгалась?

- Тебе-то что?

А у мамы нет духов.

- То, что ты перед классом должна ответить, - Руслан достаёт из кармана жвачку. Звенит звонок, но они не двигаются. Я делаю шаг вперед, но они не уходят.

- Я пошла.

- Куда? – Руслан поднимает подбородок. У него уже прыщи, россыпью, но никто не дразнит, не замечает, – ты что, русского языка не понимаешь?

Пашка смеётся. Руслан нерусский, хотя родители давно в Москве.

- На урок опоздаю, пропусти.

- Приходи после седьмого урока на площадку, поговорим, - Руслан смотрит на мой джемпер с застиранными рукавами, чёрные брюки со стрелками с заглаженными стрелками. Площадка – большое и запущенное футбольное поле – школьная территория, но забора нет – поэтому там часто выгуливают собак, сидят под покосившимися воротами компаниями. Я не люблю там ходить.

И знаю, что нелепая, но говорю:

- Договорились, - обхожу Руслана. Они не мешают, только смеются. Договорились. Это кто договорился – я? Я?

Бегу к кабинету, потому что после звонка несколько минут прошло – в коридоре тишина, только голоса глухо слышно из-за закрытых дверей. Лампы дневного света звенят, мешают. На перемене внимания не обращаешь, а сейчас и страшно словно.

Я захожу в класс.

Учительница сидит, и девчонки сидят – на партах вязанье, шерсть разноцветная, крючки. В этой четверти мы вяжем, а в прошлом году – готовили. А ещё раньше шили мягкую игрушку, а до этого – игольницу крестиком вышивали...

- Был звонок, - говорит учительница.

- Простите.

Она кивает, говорит – можешь сесть и спросить у девочек, что нужно делать.

Она не злая. Поэтому мы сидим не по спискам, не как Анна Владимировна рассадила, а кто с кем хочет. Я, конечно, с Алиной.

Она не опаздывала никогда.

Говорю вполголоса – она тоже не вяжет, только по сторонам смотрит: а знаешь, что. И если не пойду – потом вся школа против меня будет. Надо идти.

Кому надо, говорит Алина, нос ломают.

Не ломают.

У его отца ресторан.

И что?

А то, что мокрого места не оставит. Они из Грузии.

Какая разница?

А Пашка в прошлом году на бокс ходил.

Походил месяц, надоело. И бросил. Тоже мне – боксёр.

Тебе хватит.

Хватит. В сентябре взвешивали в медкабинете – тридцать килограммов. Фельдшер пожалала плечами – кашу дома ешь? Скажи маме – пусть манную варит, с желтками. Окрепнешь маленько. Ела манную кашу, но не окрепла, а только тошнило по утрам.

Так ты идёшь со мной или нет?

Алина сегодня очень красивая – причесанная, потому что на трудах велят делать несложные причёски. Косичку там или хвостики. У Алины французские сложные косы и пушистая разлетающаяся чёлка. Мама заплетала.

Алина качает головой. Но я знаю, что она пойдёт.

Давай просто домой уйдём. Не будем седьмого урока ждать. У тебя мог заболеть живот, голова... Что они сделают?

Они увидят, что ухожу. Руслан увидит. Он на каждой перемене у гаражей курит. У меня не мог заболеть живот, они ведь всё поймут...

Алина отчего-то не отвечает.

Я поднимаю голову и понимаю, что кругом тихо и девочки перестали вязать.

- Девочки! – учительница стоит над нами, рассматривает крючок и нитки, спутавшиеся, брошенные, - вот как здорово мы вяжем. В чём дело?

- Да отстаньте вы с вашим вязаньем, - говорит Алина, - надоело.

Она поднимается из-за парты и смотрит на учительницу в упор.

Она очень красивая.

У неё чистые каштановые волосы.

Тихо.

Седьмым уроком у нас черчение, и мы не уходим.

Стою в туалете перед зеркалом. Чёлка смешно топорщится, щёки блестят. Глупая. Я глупая.

- Есть пудра?

Алина качает головой в зеркале. Откуда. У её родителей денег на пудру нет.

- Видела сейчас Пашу. Он сказал, что они пошли, и что будут ждать у турников, за стадионом. Ты всё еще хочешь к ним?

- Хочу. Только мне нужна пудра. Я с таким лицом не пойду.

- Хорошо, поищу.

Алина уходит. В туалете пахнет сигаретами и хлоркой. Была уборщица, протёрла шваброй наскоро, вылила воду.

- Держи, - Алина заходит, протягивает пудру – дорогую, в синей пластиковой коробочке.

- Это чья?

- Анны Владимировны.

Пудра пахнет сладко, тонко.

- Как же она дала?

- Я сказала – для тебя.

- Когда назад отнести надо?

Вижу, как в зеркале Алина смотрит на меня. Она высокая, тоненькая.

- Не сказала. Сидит, тетрадки проверяет.

- Ты ей не рассказал?

- Я что, идиотка? – Алина молчит, - да она ещё после той истории с трудичкой в себя не пришла. Помнишь, как она из кабинета вылетела? «Я сейчас твою классную приведу, пускай разбирается!»

Алина улыбается.

Ей велели извиниться перед трудичкой на классном собрании. Алина пожала плечами – извинюсь. И тогда Анна Владимировна ушла, а мы стали вязать крючком.

- Надо идти сейчас. А то решат – струсил, - смотрю в зеркало на Алину.

- Да лучше бы струсил.

Алина выходит первой из туалета. Идёт восьмой урок, и в коридорах тишина, только лампы потрескивают.

У турников половина школы – переминаются с ноги на ногу, курят, ждут. Мы проходим дальше под взглядами.

Две старшеклассницы при нас переглядываются, одна спрашивает другую – что, эта?

Вторая девчонка не знает. Пришли на крики. Нужно стоять, плевать под ноги. Алина вначале держит меня за руку, потом отпускает.

На меня смотрят.

Паши нет.

Руслан с пацанами стоит, но ему словно не по себе – воткнул один наушник в ухо, а на телефоне батарея ещё на третьем уроке села.

Что, эта? Говорит старшеклассница, у неё лицо в бежевом тональном креме, на щеках розовые полоски, и всегда удивлялась, как у них получается краситься аккуратно, женственно, точно целое утро сидели перед зеркалом, шурились от света неяркого, потому что родители не проснулись и нельзя, а потом складывали щёточки, кисточки, маленькие щипчики, флакончики, тюбики розового блеска для губ, убирала в косметичку и несла в школу с собой, чтобы на переменах подходить в туалете к зеркалу и начинать заново.

- А где Пашка? Не видишь? – шёпотом спрашиваю Алину. Она не оглядывается, качает головой.

- За ним отец приехал.

- Почему?

- Откуда я знаю, Ань. Но он же юрист у него, отец.

Рядом с Русланом теперь земляки. Смеются, разговаривают на своём языке. Нарочно долго не замечают нас, пока девчонки не говорят – глядите, пришла.

- Зачем звали? – говорит Алина.

- А ты с ней?

Спрашивают не мальчишки. Спрашивает Таня.

Таня подходит, останавливается в нескольких шагах. На ней короткая красная курточка.

- Сигареты есть?

Кто-то протягивает пачку. Щёлкает зажигалкой, затягивается. Я обещаю себе, что в этом году обязательно начну курить.

- Вы чего хотели? – повторяет Алина.

- Твоя, бля, подружка вчера ударила Пашу. Пускай извинится, и можете проваливать. Да, Русик?

Руслан кивает, не глядя. Окурок выкинул, но на меня не смотрит.

- Да, пускай.

У его отца ресторан. Хочу думать об этом, но почему-то вспоминается, как вчерашний мальчик с каштановыми волосами шёл по сцене и вёл за руку куклу. И как Микаэла убила

куклу, и как мальчик тоже лёг и остался лежать. И повторял – это я убил, я. Возьмите меня. Почему он так сказал?

Я не понимаю, почему всё хлопали. Хлопали и хлопали, а он не вставал.

Страшно было, страшно – потому что как же не поняли, что кукла умерла, что ему незачем вставать?

Но когда он поднялся, и улыбнулся, и показал нам куклу – ничего, ничего, ничего! – и платье не измялось, и кудри не растрепались.

Но вот у мальчика дрожали руки, и стало страшно, так страшно, потому что видела – спектакль этот будет идти ещё несколько месяцев.

Как же он будет?..

- Я не буду извиняться.

Тогда Таня снимает кожаную перчатку и сильно бьёт меня голой ладонью по щеке. Кругом смеются. Алина стоит тихо.

- А теперь?

К Тане подходят девочки из параллельного класса – знакомые лица, а некоторых и по именам помню, потому что в начальной школе, когда в продлёнке оставались, вместе были – всех на обед водили, на занятия, в гимнастический зал, где без разницы было, кто из какого класса. Почему-то вспоминаю, как в первом классе с Таней были вместе в городском лагере и сидели под дождём верхом на турнике, не слышали воспитательницу, не хотели идти под крышу.

Щека горит, и стыдно, что смеются.

- Нет.

- А если так? – берёт перчатку и хочет ударить снова, но я хватаю её за волосы, сильно. Кругом улюлюкают, подбадривают. Чувствую, как удары и пинки сыплются – сбоку, сзади, со всех сторон. Кто-то хватается меня за косу, больно дергает, тянет.

Почему они вместе?..

Локоть болит.

Пинают портфель, а Алина оттаскивает в сторону.

Маленькое отделение открылось, высыпались на заиндевевшую грязную траву ключи, и зеркальце, и жвачка, и карандаш.

- Тань! – Алина кричит, - вы шестером на одну!

Таня отступает на шаг, трёт глаза – красные следы от моих ногтей.

- Хорошо, давай по-честному. Девки, отойдите. Бей, - кивает мне.

Я злюсь, но случится что-то плохое, что-то страшное, если ударю первой.

Молчу.

- Бей.

- Не хочу.

Она бьёт кулаком, сильно и точно. Я чувствую красное, резкое, не боль даже – ожог.

Алина что-то кричит, но не слышу.

Трава холодная.

- Теперь-то извинишься?

Хочу сказать, но больно.

Вдруг что-то новое, непохожее – перешёптываются, потом тушат сигареты, бросают тут же, в траву.

- Шухер, училка! – Таня надевает перчатки. Ребята разбегаются, подбирают рюкзаки. Теперь никого кругом, только Алина. Таня уходит последней, несколько раз оглядываясь на нас. Алине неинтересно на неё смотреть – она наклоняется надо мной, заглядывает в лицо.

У неё полные ладони всякой моей мелочи, рассыпавшейся по земле.

- Спасибо, - приподнимаюсь.

- Тихо. Анна Владимировна идёт.

Я встаю и забираю у Алины портфель.

Анна Владимировна бежит. На ней узкая юбка, поэтому бежит медленно.

- Что случилось? – кричит издали. Подходит, поправляет волосы растрёпанные.

- Алина, Аня, я вас спрашиваю, – подходит ко мне, берёт за подбородок. Её пальцы пахнут мелом. Стирает кровь. Плачет, - пойдёмте, я «скорую» вызову.

- Не надо.

- А как же, Анечка... – Анна Владимировна открывает сумочку, долго роется, кидает прямо на землю какие-то бумажки, конфеты, ключи. Достает телефон.

Я не хочу.

- Домой пойду. Меня папа встретит.

Папа не звонил, поэтому Алина оглядывается на меня.

- Да, у меня ваша пудра осталась, - достаю из кармашка, протягиваю. Пальцы грязные, и синяя нарядная коробочка – тоже. Мне стыдно, что даже пудру не смогла сберечь.

Она берёт пудру и долго стоит у турников – выбежала без плаща, в тёмном платье без рукавов. Алина берёт меня под руку и уводит.

Так до моего подъезда идём, медленно. Оглядывается – не идёт ли кто следом. Не идёт.

- Поднимешься сама?

- Ага.

- Завтра лучше в школу не приходи.

- Почему?

- Пускай успокоятся все. Тане наверняка не хочется с глазами расцарапанными ходить.

- Я расцарапала?

- Слегка, - Алина машет рукой и идёт к светофору. Она живёт ближе, теперь нужно снова через дорогу и назад. Я не захожу в подъезд – смотрю, как она идёт: ведь тоже сапоги старые и немодные, с широкими голенищами, а ведь никто не трогает, не задирает, дружат даже.

Поднимаюсь по лестнице, тихонько открываю дверь.

- Мам, ты дома? – стою на пороге, прислушиваюсь. Телевизор работает. Бросаю рюкзак на тумбочку, смотрю в зеркало. Чёлка слиплась, скомкалась.

Над раковиной долго отмываю грязь из-под ногтей.

Мама режет капусту для супа, а по телевизору поёт красивая женщина.

- Чего дышишь тяжело? – мама бросает капусту в кипящую воду.

- По лестнице бежала, - сажусь на стул и смотрю на мамину спину – широкую, обтянутую малиновым застиранным халатом.

- Чего бежала-то?

- Просто.

Мы едим суп и смотрим концерт по Первому каналу.

*

- Ты зачем здесь? – говорит девочка.

Саша без спросу садится рядом на подоконник и молчит. Видно теперь, что та комната, где он куртку и шарф оставил, недалеко. Шли с мамой здесь, сыростью дышали. Может быть, даже вон та дверь. Или следующая.

Девочка его лет – высокая, тоненькая, рыжая. Только стрижка мальчишеская, короткая и смешная. Кудряшки за уши заправлены, а чёлка растрепалась.

- А зачем тебя так постригли?

Девочка трогает затылок, потом опускает руку. Смотрит вызывающе. И ведь не хотел дразнить, а получилось.

- Постригли и постригли. Тебе что?

- Мама не орала?

- Нет. С чего? Она сама и подстригла. Не в парикмахерскую же идти.

- А я был в парикмахерской. Два раза. Перед четвёртым классом и перед пятым. У мамы нет машинки, чтобы стричь.

- Какой машинки?

- Специальной. Она короткую-короткую причёску может сделать. Прямо как у тебя. Или короче.

- Врёшь.

Сидят молча, а Саша белую краску подоконника ногтем расковыривает. Краска лежит на пол.

- Тебе на второй этаж. Лестницу потерял? – вдруг горит девочка.

- Почему на второй?

Злится на себя. Не заблудился, не мог заблудиться. В гостинице одиннадцать этажей – нарочно посчитал, когда подходили, но ведь выше второго не поднимался. Только обеденный зал и видел. И подвал, в котором прачечная и раздевался. Есть внутренний двор, потому что видел в окна заснеженные деревья и лавочки. Какой-то мужчина курил у заснеженной клумбы и бросил окурочок в снег. Саша смотрел, пока окурочок не превратился в точку, с которой не справились глаза.

- Ты же из номеров? С кем, с отцом приехал?

- Без отца. Как отсюда выйти?

Показывает рукой – направо. Он кивает и слезает с подоконника. Маму сразу сказала – не жди, ступай на троллейбус. И денег оставила. Только где она, мелочь – в кармане куртки? Саше отчего-то стыдно спрашивать у девочки, где раздевалка.

Глупо.

Идёт направо по коридору и открывает дверь.

За дверью холодно.

Женщина в чёрной юбке говорила, что звала дочку помогать. Может быть, это та дочка и есть. Похожи даже немного – только женщина от времени расплылась, заполнила собой и чулки, много раз штопанные на пятке, и юбку, и белый лифчик больно сдавил большую грудь.

Зачем она руками закрывалась?

Спросить бы у девочки, но холодно, и снег каплями-снежинками падает на лоб, на волосы и ресницы, и он вспоминает, что вправду оставил мелочь в куртке, а автобус подходит к остановке. У него грязные фары, потому свет получается тусклым, рассеянным.

Здравствуйтесь, говорит он водителю. Извините, не могли бы вы отвезти меня так? У меня нет денег.

Водитель молодой, в тёмном свитере с горлом.

Осторожно, двери закрываются. Водитель и не взглянул.

Саша остаётся на остановке.

На школьной форме не тают снежинки, и Саша начинает чувствовать – декабрьский, непривычный для Москвы и пронизывающий холод. Обхватывает себя за локти и приплясывает.

Только бы из окон гостиницы не смотрели и не смеялись, что он пляшет.

Вдалеке огни, но Саша не может разглядеть – автобус это, грузовик или машина.

Автобус или машина?

Огни высокие, яркие.

Это может быть автобус.

Они ездят тут часто, мама говорила, что почти никогда не ждёт, что может без шапки выйти и не замёрзнуть, но Саша не видит – автобус или машина? автобус или машина? – и пальцы немеют в ботинках.

Автобус?

Когда огни становятся ближе, Саша различает и табличку с номером, и даже лицо водителя. Он нерусский, с тёмной заметной щетиной.

Он не открывает дверей.

Через сорок минут рядом с Сашей останавливается машина. Он уже не стоит – сидит на скамейке, поджав под себя ноги. Ноги не разгибаются.

Водитель кивает – вставай, мол. Саша встаёт не сразу – помогает себе руками. Руки замерзли, но не так – грел в карманах пиджака, дышал.

Садись.

Саша садится на переднее сиденье. На сиденье сыплется снег.

Мужик останавливается возле метро. Саша медленно-медленно выходит из машины. Мужик смотрит на его влажные волосы, красные руки, промокший школьный пиджак.

- Ну вы вообще, - говорит мужик неведомо кому.

Саша молчит.

- На метро-то деньги есть?

Качает головой.

Мужик матерится и долго ищет мелочь в бардачке. И ссыпает в Сашину ладонь – кажется, гораздо больше, чем на поездку надо.

Потом уезжает.

Саша отдаёт деньги тётеньке в кассе, не считая, потому согрелся, почти совсем согрелся, но пальцы красные, больные; и лицо. В тепле будто хуже сделалось – то-то мужик смотрел жалостливо.

Тетушка-кассир быстро берёт несколько монет, остальные двигает обратно.

И звенят они в кармане пиджака дорогу домой. Дома Саша аккуратно вешает пиджак на спинку стула и долго держит пальцы в горячей воде, пока жжение не становится нестерпимым.

Мама приходит за полночь, ставит сумку на табуретку в коридоре. От неё пахнет вином. Вешает пальто на крючок.

Не говорит.

- Ты сама сказала – не жди.

- Сказала. Куртка твоя где?

Смотрит в пол, потом глаза поднимает – не знаю.

- Как – не знаешь? Куртка, за которую я ползарплаты выложила?

- Я не знаю.

Мама, я спать хочу.

- Принесла.

- Что?

- Куртку нашла в раздевалке. Думала, ты в гостинице. Ждала. Потом искала. Деньги-то в кармане, я нарочно проверила. По коридорам бегала. К постояльцам стучала. А потом Машка сказала.

Мама плачет. Мама идёт на кухню.

Она ничего не готовит, даже холодильник не открывает – их кормят там же, в ресторане гостиницы, после всех. Мама однажды принесла сервелат, нарезанный кружочками, поставила на стол, сказала – ешь. Только хлеба не было, и Саша не мог.

Саша поднимает упавший мамин шарф и идёт на кухню.

- Ради тебя, - мама вытирает глаза, - ради тебя пошла. После института долго дома сидела, разучилась учить детей – да никогда и не нравилось особо. Разучилась работать – *он* говорил, чтобы дома сидела, а по книжкам детей воспитывала. Кто ж знал?

Что ж знал?

Папа ушёл, когда Саше исполнилось девять. В апреле их повезли к памятнику Ленину давать пионерскую клятву. Учительница сказала – волноваться нечего. И Саша не волновался. У него не получалось учиться плохо, не получалось ни хулиганить, ни прогуливать. На уроках сидел тихо, первым руку не тянул. Спрашивали – отвечал. Почему-то за спокойствие, за мягкие каштановые кудри, которые всё время отрастали и смешно топорщились на затылке, Сашу любили и учителя, и одноклассники. Если кто и обижал из чужих, взрослых – защищали. Не по-настоящему, а так, нехотя, спокойно. Но всё-таки никто не трогал.

К апрелю они все выучили слова клятвы пионера, а многие и раньше знали – со слов родителей. Саше пришлось учить быстро, но это ничего – ему любые слова легко давались, запоминались быстро и долго жили в нём. Самое глупое детское стихотворение. Читалочка. Загадка. Непристойный анекдот, случайно услышанный в метро. И клятва.

В апреле их повезли к памятнику Ленину, где уже ждали родители – слушали, вытирали слёзы, смотрели, как взрослый красивый мужчина-коммунист завязывал детям оранжево-красные галстуки. Саша долго искал взглядом папу с мамой, всматривался в лица взрослых. Но не находил. Мама пришла ближе к концу, когда всё стали расходиться.

Даже учительница беспокойно смотрела на Сашу и думала, как же теперь. В девять лет в городе не оставишь. А в школе – никого, праздник.

Мама пришла, а папа – нет.

Мама пришла с заплаканными глазами и с того дня полюбила выходить в выходные во двор и садиться на самую дальнюю лавочку.

Так, чтобы Саша с балкона не мог разглядеть.

*

- Говоришь – в театре понравилось? – папа на пороге стоит, не входит. Стучаться два года назад стал. Сам, не просила.

- Вот, - кладёт на пианино, - какое-то музыкальное. «Чудесная флейта», или как-то так. Хоть без оравы послушаешь.

Страшно опять – тот театр с часами, лестница, Пашка. А теперь ещё и одна, без родителей, без Алины. «Чудесная флейта». Смотрю на билете – не чудесная, волшебная. Без разницы.

На следующее утро не встала, сказала маме – ко второму уроку, математичка заболела. Поверила, собрала сумку, ушла. Днём вернулась после пяти уроков, а я на кухне сидела, раздетая, в майке одной. Что-то непохоже на тебя, сказала. Прогуливать взялась? Нет, ответила. А что сидишь? Так. Не знаю. Анют, случилось что? Ничего не случилось, просто не хочется.

Отошла, стала пакет из продуктового магазина разбирать.

Я никогда не врала родителям, и поэтому они поверили – что математичка заболела, что уроков не было. Что голова болела.

Я два дня дома сидела, в комнате.

А потом позвонила Анна Владимировна, и трубку папа взял.

Я слушала через дверь. Потом папа постучался, вошёл, сёл на разобранный диван, на простыню смятую.

- Что? – сажусь в шортах, завернувшись с ногами в плед.

- Спросила, что сказал врач, что всё ли в порядке, - папа бездумно водит рукой по ситцевым волнам одеяла, расправляет складки, - спросила, сразу ли повели в травмпункт, долго ли пришлось ждать.

- Пап.

- Спросила, прикладывали ли холодное. Мазь советовала – хорошую, которая её матери помогла, когда та упала. Мороз был зимой, гололедица. Так сказала.

- Пап, - сажусь прямо, ровно. Чашка стоит на табуретке, застыл чай тёмными кольцами по краешку, - а что я должна была вам сказать? Что дралась?

- Да. Что дралась. Что сказала учительнице, что папа тебя встретит и поведёт в травмпункт. А папа в тот время чёрт знает где был!..

Папа редко кричит.

Я молчу.

- Кто это был, Ань?

- А что, Анна Владимировна не сказала?

- Нет. Завтра же пойду в школу разбираться.

- Пожалуйста.

- Что?

- Пап.

Я говорю – пожалуйста, не ходи никуда. Возненавидят ведь. Будут пальцем показывать. Папочка пришёл защищать. Наябедничала. Куда уж хуже.

Папа хочет расспрашивать дальше, но смотрит – на обоях над кроватью новый набросок появился. Карандаш, смазанный уже – рукой провела неловко, но всё равно. Бык худой, неправильно, изогнутый – защищается, а бок врезался короткий кинжал. Не видно, кто убил – я не стала его рисовать.

А какой он из себя?..

- Откуда быки?

Так и не сказала, откуда. А он после работы билет на «Волшебную флейту» принёс.

Зашла в мамину комнату, села на кровать. Мама делает гимнастику на полу, на коврик – в смешных цветастых лосинах, в тонком свитере. Дышит глубоко, поднимает ноги.

- Мам, можно сиреневую юбку взять?

- Зачем?

- В театр хочу надеть.

- Сиреневую? Утонешь ты в ней.

- А я булавкой заколю пояс. Пожалуйста.

- Бери. Найдешь в шкафу?

Нижняя полка? Нижняя. Беру длинную сиреневую юбку – не утону, даже если и без булавки – потому что старая юбка, с маминой молодости, студенчества. У себя ищу белую кружевную блузку, которую в школу на праздники надеваю.

Смотрю в зеркало – нет, всё-таки нужны булавки, юбка такая в талию должна быть.

Булавка, ещё булавка.

Не видно их, булавок? Не видно. Блузкой прикрою.

Волосы вымыла с вечера, расчесала.

И не стала сверху никакой тёплой кофты надевать, чтобы красивой без пальто сразу быть. Потому от ветра немеют руки в карманах, и дрожь.

И в зеркале золотом в фойе себе равно не понравилась. Юбка длинная, глупая, старомодная – и зачем надела, чтобы лучше казаться, лучше бы в своём. И он увидит. Увидит всё со сцены, до ниточки, до пуговички (потом узнаю про свет – яркий, режущий глаза, и что не видно ничего – только лица на первом ряду, жёлтые и размытые).

Спектакль мимо глаз прошёл, хотя хороший, яркий – и тот мальчик снова был, хотя и погрузневший словно. И поэтому почти не слушала, как он поёт, а только думала – не случилось ли и у него плохого.

А как вышел из служебного выхода, пробежал несколько шагов до бульвара и сел на невысокий заборчик – не удивилась.

Не уходила, стояла, пока голову не поднял.

- Здравствуйте.

Кивает, улыбается – маленькой. Маленькой, которая со спектакля вышла, за артистом пошла. Сейчас подарит цветочек, засмущается, убежит.

- Здравствуй, - смотрит, разглядывает, - что за фингал у тебя?

- Так, - пожимаю плечами.

- Били?

- Нет.

Сажусь на забор рядом. Пальто не застёгивала, но не холодно. И забыла, что одета некстати и некрасиво

У него пот выступил капельками на лбу, и каштановые кудряшки спутались, и грим размазался вокруг глаз чёрным. Даже красиво. Точно несколько ночей не спал, под лампой сидел, рисовал, роль учил, умную книжку читал.

- Как вы поёте голосом девочки? – спрашиваю.

- Какая у тебя юбка красивая, - говорит он, - лиловая.

Потом сказала маме спасибо и вернула выстиранной, поглаженной.

*

А кого звать, спрашивает Саша.

Из школы некого?

Саша качает головой. Есть только Нюра.

Нюра взрослая. Да и придёт ли? Позови, если хочешь. А ещё кого?

Больше некого.

Дедушка с бабушкой придут. И хватит.

Но мне тринадцать лет.

Через три дня. Не ной. Сам виноват, что ни с кем не дружишь. Я дружила. Мы с подружкой даже платья одинаковые шили, покупали вместе ткань, уроки вместе делали. А вы всё сами по себе.

А теперь дружите?

Мама не отвечает.

Мама открывает холодильник и достаёт разное – сливочное масло, яйца, молоко.

- Покупать ничего не нужно. Принесу с работы, что надо. Пирог испеку. Какой ты хочешь?

- С вареньем.

- С вареньем? Хорошо. И ты из сверстников не хочешь позвать?

Саша вспоминает.

- Ту девочку из гостиницы.

- Какую? Машку, что ли?

Саша кивает.

Мама убирает продукты обратно, оставляет только молоко в большой стеклянной бутылке.

- Машку? Да у неё мать... Ты видел.

- А что плохого?

- Ничего.

Через три дня Саша ждёт гостей – нарядный, с расчёсанными влажными волосами.

И Маша приходит. Без матери.

- А как же Наталья? – мама растерялась, встала в прихожей. Как готовилась – оделась нарочно не в юбку и белую блузку – в платье, сшитое, кажется, ещё в молодости, но красивое, хорошее. Не вынимала из шкафа – пока беременная была, пока с Сашей сидела, когда не работала. Примерила – в самый раз по фигуре вышло, точно не было жизни после – ни Сашки, ни той, второй беременности в тот год, когда ушёл Сергей.

- Мама сказала – на детском празднике ей делать нечего, - Маша снимает ботинки, аккуратно ставит к стене, - я наследила. Где можно тряпку взять?

- Ты что, - мама машет рукой, - я вытру, вытру, не страшно. Ты иди в комнату.

Маша входит в комнату, кивает Саше – а где другие дети?

- Никого, - Саша сидит на диване.

За полчаса до её прихода Саша с мамой принесли кухонный стол в комнату, накрыли белой скатертью-клеёнкой – из старых, кажется, ещё свадебных запасов. В коробке нашли белые салфетки, тоненькие льняные полотенца, набор ложек и вилок. Какие красивые, мама. Почему не пользуемся?

Давай пользоваться. Только помой вначале.

Положили на клеёнку новенькие, чистые.

И Саша решил не убирать потом в коробку, оставить – для радостных, каждый случаев, когда стыдно обычные оловянные доставать. Ему-то самому что. Можно и гнутой. А девочкам, слушал, важно. Он ещё и тогда, в гостинице, подумал – а почему Маша сидела на подоконнике, что она делала одна?

Решил, что, как и он, не стерпела взглядов.

Почему ты не спросил, где раздевался? Я бы показала.

Мама ругалась?

Нет, я сама. Ты, говорят, болел после сильно.

Я выздоровел.

Маша садится на его диван, застеленный тщательно выстиранным пледом, ещё пахнущим вкусно стиральным порошком и водой.

От того ли, что хотела показать Наталье, что хозяйственная, умелая – мама испекла песочный пирог с малиновым вареньем, сделала салат из свеклы, сварила картошку. Позавчера принесла сыр, нарезанный, с работы. И ещё много всего - белый хлеб, копченую рыбу, кусок торта. Торт мама велела съесть сразу, не ждать гостей, боялась – прокиснет.

А тебе, спросил. Отмахнулась – ешь. И он ел. После болел живот. Он не сказал.

Маша смотрит на стол:

- У нас тоже такая рыба есть.

Входит мама - ну что вы за стол не сядете? Сашка, а ну поухаживай за гостьей. Саша встаёт и не знает, что делать. Он не привык ухаживать. Не привык к такой маме – радостной, взвинченной, неестественной. Разве ухаживали дома за кем-нибудь раньше, улыбались, приглашали к столу?

Саша и гостей не помнит.

Звонят в дверь, и мама бежит открывать, оставляет их с Машей вдвоём сидеть, глядеть неловко друг на друга.

Пришла Нюра. Она красивая, почти взрослая. Говорит – я совсем-совсем ненадолго. Вот, сделала тебе. Держи.

Нюра протягивает Саше что-то.

Лучше потом посмотри.

Нет, давай сразу, говорит мама. Потом смотреть невежливо. Не знал? Открывать надо сразу, поблагодарить того, кто подарил.

Мне тринадцать, говорит Саша.

Я знаю.

Саша достаёт из пакета кукол и сложенную в несколько раз плотную ткань.

- Это ширма, - говорит Нюра.

Кукол Нюра сшила просто – вначале рукавицы, по тем лекалам, что на трудах выучили. Потом нашла старые игрушки – разломанные, исковерканные временем, руками детей, у которых жили раньше (у Нюры никогда новых не было, поэтому соседи и родственники дарили старое из жалости) – и пришила головы к рукавицам.

Давно бы игрушки выбросила, но мать к бережливости приучила, решила – ладно, пускай лежат, авось и пригодится.

Пригодились.

Саша смотрит на лица кукол – пластмассовых, странных. Где-то Нюра подкрасила шариковой ручкой и лаком для ногтей.

- Это по сказке, - объясняет Нюра, - ты же сказки читаешь. Это – маркиз Карабас.

Маркиз Карабас – кукла с остриженными волосами и с нарисованными синей ручкой усами и короткой бородкой. На платье ему Нюра нашла бусины.

- Он богатый. А это Кот.

Саша поднимает глаза на девушку, говорит – спасибо. Ему хочется сейчас, сразу же, устроить театр – только стыдно, потому что Нюра смотрит хоть и без насмешки, но точно на маленького, а мама... мама может вообще спрятать куда-нибудь весь театр, когда Нюра уйдёт. Не для мальчика, скажет. Лучше бы конструктор подарила.

- Скажи спасибо Ане, - мама странно смотрит на подарок, морщится. Как можно так изуродовать кукол. Рукавицы к головам пришила. И на плаще маркиза Карабаса не лоскутки ли той самой ткани, что лежала в нижнем ящике комода?

Надо было сшить юбку раньше, пока была красивая, пока ходила в школу детей учить.

А теперь куда её носить станешь – лиловую, яркую, девчачью?

Пускай шьют.

Пускай будет плащ у маркиза Карабаса.

Саша открывает глаза.

Скажи спасибо Ане. Мама вытирает слёзы, подходит к столу – ну что, девочки-мальчики, будем пирог резать?

Саша не смотрит на пирог.

Кто такая Аня?

*

- Аня! – она машет рукой.

Алина ждёт меня на углу дома – позвонила вчера первая на домашний, спросила. Я сказала – хорошо, как обычно. Обычно Алина переходит дорогу и ждёт возле аптеки, мёрзнет, а я опаздываю, бегу.

Бегу.

Алина изменилась незаметно, неуловимо – чёлка? тени для век другие, яркие, голубые? свитер тёплый с высоким горлом? Глаза грустные.

- Ты чего?

- Скандалили.

- Отчим?

- Орал. Ничего, выдохся.

Идём молча, медленно. От угла аптеки до школы пятнадцать минут, и не торопимся, грязь со снегом месим. А Алина в кожаной куртке на свитер, духами пахнет.

- Собралась куда?

- Позвали. Вечером, но домой не буду заходить. Как – нормально?

Смотрю – куртка холодная, но красивая: прошлой весной ей мать купила, раскошелилась.

- Замерзнешь.

- А мы не гулять – там у кого-то из ребят машина есть, посидим. Тебе бы раньше в школу прийти, чтобы Анна Владимировна скандала не поднимала.

- А что было?

- Собрала всех, спрашивала. Меня спрашивала. Мол, что с Танькой не поделили. Она даже думала, что мальчика.

- Мальчика? Она что, знает, с кем Танька встречается?

Алина не знает.

- А Пашу отец в другую школу будет переводить. Мне Анна сказала. Чтобы не вылезло потом где. И с тобой будет разговаривать, увидишь.

Не будет. Отец Паши ко мне не подойдёт даже, не взглянет.

Но после немецкого подошла Анна, кивнула, про здоровье спросила. Сказала – сейчас на десять минут нужно в кабинет завуча подойти, поговорить. Ладно, говорю, пойдёмте.

А там вместо завуча незнакомый полный мужчина в джинсах и цветастой футболке – рукава резинками в красные руки впиваются, и неприятно смотреть. Тербит ремешок от коричневой барсетки, на меня не смотрит.

- Вы, может, выйдете пока? – это он Анне Владимировне, - сейчас обговорим быстро.

- Нельзя так, - улыбается виновато, - правила такие, понимаете.

- Что за правила? – поворачивается телом на неё, - да не съём вашу пигалицу, ну. У вас что, дел нет?

- Нет, - говорит Анна Владимировна, - Виталий Сергеевич, давайте вместе разговаривать, о чём хотели.

Машет, оборачивается ко мне. Глаза красные, воспалённые, и много родинок по нижнему веку – только в лицо крупы бросили, и прилипла. По щекам красные прожилки.

- Аня, хочу сказать, что мой сын, Павел, не имеет никакого отношения к той истории. Ведь его и не было среди тех ребят, правда?

- Не было, - киваю.

- Хорошо. Павел передает извинения за то, что грубо разговаривал с тобой в метро и не обижается, что ты его толкнула. Он думает, что ты сделала это случайно, без умысла. Ведь так?

Киваю. Молчу.

- К сожалению, он не сможет извиниться лично, потому что его приняли в лицей. Но хотелось бы, чтобы не осталось никаких обид.

Он долго роется в барсетке, а потом суёт мне в ладонь что-то.

- Сходи к платному врачу, к хорошему, - говорит отец Паши, - а то в поликлиниках безмозглые совсем сидят.

- Виталий Сергеевич... – начинает Анна.

- Что? – мужчина встаёт, надевает куртку, - с вами-то вроде уже договорились. Или мало?

Идёт к выходу, и не смотрит на нас, придавленных, уничтоженных, в немодных юбках, даже похожих немного. Чувствую своё лицо – лоснящееся, со следами прыщей, в неровных пятнах пудры. И когда встаю, и когда смотрю на него, обернувшегося, злого, чувствую, и когда говорю:

- Деньги заберите, я была у врача.

А потом, когда он выходит, Анна Владимировна плачет и спрашивает меня – веришь, что не брала денег, веришь? не договаривались, а он только извиниться хотел? за себя, за Пашу? И разрешила, дура, а надо было и не разговаривать вовсе.

- Верю.

И вроде она темноволосая такая, спокойная, и на уроках говорим чаще не о биологии, а об успеваемости, сменке, ремонте класса, и скучно потому, но осталась с ней и успокаивала.

*

Нюра и вправду ушла почти сразу в тот день, только пирог попробовала. Сладкого, сказала, не ем – не маленькая. Мама завернула ей два куска пирога с собой, велела – сама не ешь, так маме отнеси. Мамы Нюры несколько лет не встаёт, только иногда мужчины-соседи выносят её на улицу и сажают на стульчик у подъезда.

Саша несколько раз проходил мимо, когда она вот так сидела – здоровался. Она не отвечала – разглядывала солнце, травы, тоненькие деревья, совсем недавно посаженные. Много-много лет назад с мамой Нюры приключилось что-то страшное, плохое. Саша не запомнил название болезни, хотя оно и звучало тогда часто – мама говорила приятельницам, боялась.

Вдруг, говорила.

Никто не застрахован.

В тридцать лет начинается.

Живёшь себе, бегаешь. Мальчишку, вон, воспитываешь. Саш, не подслушивай. Это нехорошо.

А он не подслушивал, потому что говорили о неинтересном.

Нюра ушла. Ему стыдно смотреть на маму.

Маша пирог съела, а больше ни к чему не притронулась – знакомая еда, привычная.

- Чего не ешь? – спросила у неё мама.

- Не хочется.

Повторять не стала, что, мол, и дома такой еды полно, не удивите. Саша думает, что они стали избалованными, как богатые – и ничем не удивить будет, ни сейчас, ни когда-нибудь.

Маша пожала плечами, оставила на комодке кляссер для марок (хотя Саша никогда не собирал марки, не увлекался, не понимая интереса) – и ушла.

Они остались вдвоём с мамой и полными тарелками всякой всячины.

- Не притронулись. Ну детишки пошли. В моё время в гостях неприличным считалось мало есть. Как же, хозяйку обижаешь. Или невкусно? – внимательно смотрит на Сашу, но на него глядеть нечего – длинный, худой, в чём душа держится. Так о пище заботился мало, глаза отводил. Хотелось, чтобы мама ушла поскорее заниматься делами – мыть посуду,

смотреть на кухне телевизор, гладить блузки, разбирать бельё для стирки или даже застирывать воротнички особой пластиковой щёткой и куском хозяйственного мыла. Хотелось, чтобы не мешала и не смотрела. Ну же, уйди. Что в комнате делать сейчас? Гости ушли, и скучно. А со стола и сам уберу. Пожалуйста.

Мама глядит внимательно, а потом оставляет Сашу с его кукольным театром в комнате.

Он ставит рядом два стула, и спинки закрывает чёрной тканью – получается ширма. Саша ни разу не видел устройства кукольного театра изнутри, но отчего-то показалось правильным – садиться на за ширмой, а впереди, потому что куклы могут задуматься, заскучать. Тем более, что Нюра не сделала важную куклу – врага, Людоода. Наверное, ничего не придумала.

Кто такой Людоод?

Саша вспоминает сказку, которую когда-то читала мама, а потом прочитал сам – в сказке не было ничего особенного, нравилось только, что Людоод мог превращаться в любого зверя, даже в мышь.

Как Людоод выглядит?

Саша подходит к зеркалу и заглядывает в глаза Людоода.

- Ах, вот как? Вы считаете это невозможным? – говорит Людоод.

- Я слышал, ваше сиятельство, что очень легко превратиться в какое-нибудь большое животное – в слона или бегемота. Между нами говоря, сударь, в этих-то животных, я уверен, вы превратитесь без большого затруднения. Но вот во что-то маленькое, скромное... – говорит Кот в Сапогах. Людоод говорит – ах так? Извольте убедиться? Людоод превращается в мышь.

Что дальше?

Саша помнит.

Кот ловит мышь, и все живут долго и счастливо. Он хочет почувствовать себя мышью, закрывает глаза. Как это, когда тебя схватили, сжали, сделали что-то такое страшное, непереносимое, что и помыслить себе не можешь?

Он давит ладонями на закрытые глаза и видит красное, коричневое, тёмное, расплывающееся. Вот это – тяжесть? Вот это – страх?

Саша вспоминает, что говорили про маму Нюры – мол, её болезнь такая, что вначале ходить перестаёшь, потом сидеть прямо – клонишься и клонишься вбок, словно младенец – а потом груди становится тяжело вдыхать, и она перестаёт.

Саша убирает руки с лица и обнимает себя – крепко-крепко, словно до костей промёрз на остановке. Тогда он и впрямь промёрз, только не сразу заметил. Вроде и стоял всего ничего, и мужчина добрый, неразговорчивый, машину скоро остановил.

Плакал с мамой над курткой, а утром температура поднялась.

Вот это – боль?

Саша открывает глаза и смотрит на лохматую игрушку, старательно и неумело сшитую, некрасивую. Болел две недели, и даже учительница из музыкалки позвонила – что случилось, не болен ли.

Болен, сказал. Но я буду заниматься.

И он занимался.

Я ради тебя, говорила мама. И что школу тогда пропустил по моей вине – никогда не прощу. Он-то наверняка хотел бы, чтобы ты стал каким-нибудь идиотским военным,

офицером. Офицером. Видел бы он твои пальчики и кудряшки, прямо как у девочки. Один раз я шла с коляской в магазин, так какой-то парень остановился и сказал – какая хорошенькая девчушка у вас, глазастенькая, хитрая. Вот так. Девчушка.

Может быть, хотя бы на фортепиано выучишься играть. У нас на банкетах иногда играют.

*

Столько учила, а не вспоминается – пальцы затвердели, загрубели. До этого года радовало, а теперь склеенные скотчем листы стоят бессмысленно, пылятся. Сверху написано: «Chopin. Prelude, e-moll» мои ровным детским почерком, ибо было время, когда каждую букву выводила. Теперь закончилось.

- Ты чего вдруг? – мама встала на пороге.

- Что?

- Играешь. Давно не садилась.

Я не знаю, отчего вдруг пришло такое – за книжку не схватилась и компьютер не включила, а крышку фортепиано открыла, долго искала ноты, села и смотрела неподвижно, вспоминая.

- Не знаю. Захотелось.

- А говорила – не сядешь больше.

Говорила. Крышку захлопнула, и сказала, чтобы больше деньги не тратили, не настраивали. Мне двенадцать было.

- Говорила.

Сыграла три такта, остановилась.

- Мам, а ещё можно в музыкалку вернуться?

- Такой дылдой? Да ты всё позабыла, не выдумывай, - у мамы в руках длинная рыба в чешуе, которую чистила с хвоста, но услышала Шопена и пришла.

- Вспомню, - оглядываюсь на маму, - ты чего, течёт же с рыбы.

Поднимает повыше – рыбьими каплями пол забрызгала, пока слушали друг друга. Пахнет мокрым морем, камушками. Я доигрываю последние такты – всё же помню-помню, руки знают дело, ловкие, умные – и иду в ванную за тряпкой.

Тряпка потом пахнет рыбой, и её выкидывают. Закрываю крышку пианино, провожу ладонью – пыль, пыль, точно не убираюсь вовсе. А всё потому, что мальчик с куклой руки разглядывал, говорил – с такими пальцами хорошо, наверное, играешь, услышать бы; а я вспомнила, что играть два года назад в последний раз садилась.

Мама говорит вечером – нет, если хочешь, вернись, конечно. Хочешь, я сама учительнице позвоню?

- А помнишь – вы меня всё время на какие-то конкурсы водили?

Мама пожимает плечами.

- Маленькая ходила, да. В садике и в началке. Любила выступать, радовалась.

Помню, как выходила на сцену, а там темно было, и тётеньки в цветастых кофтах в первом ряду сидели. Смотрели – не на руки; на платье, на волосы. А мама ещё любила покупать яркое, красное или жёлтое. Думала – девочка красивая должна быть, чтобы все видели, что для неё вещи старательно выбирают, с любовью.

- А помнишь, мы в хоре пели – помнишь? Отчётный концерт был, в библиотеке. Я ещё после гайморите была.

- Помню.

- Помнишь, как ты сказала не надевать платье – а то в зале холодно, а я ещё носом хлюпаю? Я так и пела в джинсах.

- Помню.

- И все на меня смотрели, а учительница и сказать ничего не могла – потому что ты в зале сидела. Ты помнишь, что я одна из всех в джинсах была?

- Не вижу ничего страшного в этом. Подумаешь, отчётный концерт. У тебя этих концертов было. Это потом что-то с тобой стало, что...

- Что стало?

- Ну ты же сама знаешь. Сказала, чтобы больше тебя на сцену не тащили. Тебе одиннадцать была. Упрямая. Разве тебя уговоришь?

- А почему? Почему я больше не захотела?

- Ну не оттого же, что я тебя заставила в джинсах петь. Только не от этого.

Мама смотрела прямо, не отрываясь – как давно не смотрела, не видела меня.

- Испугалась чего-то. Может, в зале мужчина сидел. У тебя было такое, что на улице мужчин боялась, плакала. Когда маленькая совсем была, понятно. Я ж хотела тревогу бить, к детскому психологу водила. Ничего, говорит. Это из-за отца, сказали, как у всех. Хотя отец-то что, отец в тебе души не чаял. И тогда, и теперь. Но объяснить-то надо было. Психолог. Больше не ходили, сами справились. Но на концерте могло вспомниться, появиться.

Я закрываю крышку фортепиано. Немного расстроенное уже, пыльное. Знаю, что можно позвать настройщика, хотя и дорого это. Раньше у папы самого был ключ, но затерялся по кладовкам, в праздники, в бесконечные мамины перестановки. Не терпит она, чтобы кресло дольше полугода на месте стояло, вот и двигает беспрестанно – то дальше от окон, то ближе. От этого меняется освещение, и тени уходят. Однажды искала, когда хотела что-то нарисовать, но не было.

Почему я боялась мужчин?

Ведь ждала возле театра, не уходили.

А может – кто знает? – уже и давно был какой-нибудь Паша, который смотрел зло, раздражённое, просто не запомнила, как и конкурсы, на которые водила мама.

Думала, что я стану пианисткой?

Или как думала?

Папа и ключ купил нарочно, потому что играла часто, и сквозняки были, а инструмент старый, не держал строй совсем. Звали настройщика раза три от силы, а потом мама сказала – всё, думайте, что делать. Нельзя так дальше. И папа придумал. А слух у него хороший с детства, и руки маленькие, ловкие.

Дома каждый гвоздик забит основательно, ровненько полки повешены – не терпел беспорядка, расслабленности, небрежности. Следил. Не любил, когда они с мамой по выходным спали до полудня.

А где теперь ключ – никто не знает. Но всегда поискать можно.

*

Мама отдала всю сиреневую ткань. Принесла вечером, на стол положила.

Мам, ты чего, а юбка как же?

Переживу. Толстая для юбки стала.

Не толстая. Придумала.

Толстая-толстая. Ладно, завтра вставать рано.

Подожди. Может быть, я снова тебе помогать буду? Там, в ресторане.

- Зачем это? – окидывает его взглядом, - да и большой уже, приметный. Все-таки одно дело – мальчик, другое – юноша.

Какой юноша?

Оглядел себя, вспомнил. Да, пожалуй, юноша.

- Или устрой как-нибудь. Ты же без ног приходишь, вижу.

- Да к чему?.. – пожала плечами, открыла дверь. Так и спала на кухне, с того времени, как ему двенадцать исполнилось. Он хотел поменяться, но не позволила. Комната у тебя будет всегда, говорила. – Пока могу – буду работать.

- Пожалуйста. Мне нужно.

- Нужно?

Мама останавливается, дверь придерживает. Она давно не делала химию, и теперь её тёмные волосы, прямые и тонкие, висят ниже плеч, непривычно и жалко. Раньше казалось – у мамы кудри, как у него, и в этом одинаковые, даже на улице прохожие с улыбкой смотрели. А теперь и ему иногда стыдно становилось, что с локонами на девочку похож – так стыдно, что на себя глядеть перестал.

- А ты большой стал, - мама разглядывает внимательно – руки, плечи, точно незнакомого, точно мужчину, которые стоит перед ней в очереди на почту или в продуктовый. Когда была с кудрями, и мужчина бы посмотрел, обернулся. Видная женщина, губы яркие, глаза. А теперь не смотрят.

Она сама жаловалась.

- Большой стал, - повторяет, - это что же, снова форму покупать надо?

- Не надо. Сказали – теперь можно форму не носить. И красный галстук тоже.

Как же забыла?

- Не забыла. А как – если без формы? В чем ходить-то?

- Не знаю. Не сказали. Я и в джинсах одного мальчика видел.

- В джинсах. Ты хочешь джинсы?

- Нет.

Мама уходит на кухню, потом возвращается.

- У нас там есть одна девочка, у которой муж может джинсы привезти. Тебе точно не нужны?

- Точно.

- Хорошо. Пойдёшь со мной завтра. Раз надо.

- Спасибо.

Сам не мог понять, для чего. Теперь мама не одевала, не причёсывала – сам на ощупь прошёлся по волосам мокрой пятерней, сам надел школьные брюки, что давно коротки стали. Но тепло на улице сделалось в последние дни, потому не боится. Кажется, случись что – и простоять на остановке долго сможет.

Он улыбается. Надо же так было – глупо, глупо, невыносимо глупо. Нужно было вернуться тогда за курткой, достать мелочь из кармана, купить билет на автобус. Машу стеснялся, не хотел, чтобы девчонка подумала – бестолковый. А ведь и впрямь бестолковый.

Месяц кашлял.

Утром они пришли, но он не оставлял вещи в женской раздевалке, даже не заходил. Мама смутилась, сказала – Саш, оставь в коридоре, не возьмёт никто. Он оставил.

Но ни в коридоре, ни на лестнице, ни в банкетном зале – нигде не было Маши, и никто про неё не помнил. Вечером мама усадила рядом – значило, что хочет серьёзного разговора, хотя давно не было такого.

Мама всегда говорила серьёзно, всегда был разговор серьёзным, даже когда она просила подогреть вчерашнюю кашу.

- Вчера все на работе сказали, что ты вымахал. Вправду – вымахал, а я и не заметила. Тебе сколько учиться осталось?

- Год.

- Ага. Но ты хорошо учишься?

- Да.

Мама встаёт, ставит чайник. Привыкли за время вместе успокаиваться, слушая, как чайник стоит вначале тихонечко, потом гудеть начинает, потом свистеть – и вот тут нужно успеть откинуть свисток, чтобы не разбудить – а кого, они забыли.

Саша представляет, как мама с папой вот так сидели на кухне с вареньем в маленькой розеточке и белым хлебом, и грузинским чаем, а он, маленький, спал в комнате – наверное, это *его* разбудить боялись, *его* берегли.

- А стать кем хочешь? Ты не смейся. Мне на работе сказали – обязательно нужно спросить.

- Я не знаю, кем. Я с куклами хочу быть.

Он полгода перешивал-перedelывал Нюриных кукол, а потом и своих попробовал делать. Получались страшенькие вначале – но потом выходили лучше и лучше. И первую свою, красивую, он посадил на пианино. Кукла и теперь сидит, ножки свесив.

- Никем не хочешь?

- Почему. Сказал же.

- Сказал!.. – повышает голос, потом спохватывается, - извини, извини. Я просто понять не могу. Почему ты не можешь сказать? Я тебя вижу дома всё время. Не ходишь никуда, всё в комнате занят. Не могу понять, что делаешь.

- Ничего.

- А куклы?

- Это просто так.

Чайник свистит. Но никто не хочет выключить.

- Ну а учиться куда пойдешь? Надо заранее знать.

- Куда-нибудь пойду.

- Брось. Куда?

Саша говорит первое попавшееся:

- На историко-филологический.

Мама думает, вспоминает своё.

- И что же – учителем, получается, будешь?

- Наверное.

Саша не задумывался. Учителем – строгим, равнодушным, боязливым, неряшливым, злопамятным, печальным, участливым, беспомощным?

Каким?

- Я ведь тоже была учительницей, помнишь?

Помнил, но смутно. Вроде была, но ничего не рассказывала. Приходила домой и гладила папу по голове. Всё.

- Мне нравилось, - говорит мама, - только вначале по распределению далеко попала, в Вологду. Знаешь такой город? Там холодно было, мы шубы в коридоре надевали. А в классе снимали, потому что порядок должен быть. И шумовато в классе было, и ябедничали, и злились. Но знаешь, вроде и смотрели по-другому как-то, хотя и маленькая была.

- А сейчас как смотрят?

- Как? – думает, пьёт чай, - вовсе не смотрят. Зачем им? У них же по меню уже всё выбрано заранее. И говорить не о чем. Значит, будешь учителем? Решили?

Они не решили, но мама с того дня рассказывает приятельницам и прачкам гостиницы «Спутник» - знаете, Саша будет учителем.

- Мам, а почему нас бросил папа?

*

Звал в мастерскую, говорю Алине. Одна не хочу, да и страшно. Пойдём вместе?

Она не знает. Она теперь в пуховике, потому что за кожанку от отчима влетело, как увидел. Ещё и вернулась поздно – в колготках, в куртке, в юбке. Всё время мысль, что она шляется, вот и влетело. Теперь носит пуховик длинный, тёплый. Но в нём стыдно идти на свидание – или куда ходила; поэтому со мной осталась, хоть и грустная.

Пойдём в мастерскую, повторяю, он звал.

Зачем звал-то, и разве интересно? Что там, в мастерской?

Не знаю – куклы. Кукол делает. Он кукольник.

Алина видела спектакль, видела Кармен. Что сказала? Ничего не сказала – не умеет. Хорошо, интересно, и женщину жалко. И всё. А теперь поедem в мастерскую, потому что неловко одной.

- Недолго только. А то отчим, - морщится, расстраивается. Не покрасилась.

- Так вместо физкультуры пойдём, и не узнает.

Физручка не наступит, знаем. Всё равно, кто на лавочке сидит, пока парни в баскетбол играют. Выходим на Цветном, шуримся от мокрого снега.

Иду, как он велел, на второй этаж, толкаю дверь – а там женщина маленькая, седая, в позолоченном колье на тонкой шее. Тяжёлое колье – шею сгибает, клонится к земле.

- Вам что, девочки? – строго смотрит, недоверчиво.

- Мы к Александру Сергеевичу, - мямлю, смотрю в пол – вдруг ошиблась, перепутала, Алину зря привела? Ведь что он сказал, когда на заборе вдвоем сидели? Приходи, приходи хоть в понедельник, я-то до вечера буду, покажу работу. И была уверена, пока в метро ехали, пока по бульвару шли.

- К какому Александру Сергеевичу? – женщина сдвигает очки, всматривается в меня. Я шапку сняла, а челка мокрая, растрёпанная, - а он вас приглашал?

- Звал. Вчера.

Женщина показывает вперед – проходите. Она обиделась.

Входим в комнату со светлым окном без штор, и ящики везде, и стол с инструментами, пуговками, бусинками, ремешками, и лампа жёлтая тени на стол отбрасывает резкие, спутанные. Александр Сергеевич над столом наклонился – над чем-то мелким, невидимым – и волосы каштановые на лоб упали.

- Ань, он же старый, - тихо говорит Алина.

Мальчик поднимает голову и улыбается – по близорукости куда-то мимо.

- Привет.

Алина расстёгивает пуховик, потом снимает совсем, кладёт на подоконник, а сверху – шапку и варежки. Впервые замечаю, что волосы у неё длинные и гладкие, а щёки чистые, без красных пятнышек и веснушек.

Но ведь он со мной впервые разговаривать стал, не с ней.

Её там не было.

- Стулья найду, - Александр Сергеевич оставляет работу – крошечную кукольную ручку – с ногтями, тончайшим узеньким колечком на безымянном пальце; несёт два стула, ставит в ряд – точно зрительный зал.

- Хотите попробовать? – даёт кисточку Алине. Не кисточку даже – вроде иголку с красной каплей на конце. – Надо ей ногти покрасить.

- Вы всегда куклам ногти красите? – Алина берёт иголку.

- Эта модница, - Александр Сергеевич напряженно следит, как Алина держит иголку – не дрогнула бы рука, не соскочила. Но получается, как всегда на труде и вязать выходило, и крестиком вышивать.

- Ань, хочешь тоже? – оборачивается. Вижу в его глазах красное – от напряжения, работы мелкой, жёлтой лампы, окон без штор, тяжёлого воздуха.

- Нет.

Взглянул – обиделась? Искал на лице – слезы вытерла, отвернулась.

- Что такое?

Покачала головой, к окну отошла.

- А вам интересно с куклами? – спрашивает Алина. Я молчу.

- А почему должно быть неинтересно? – он поднимает голову от стола и смешно отводит от глаз отросшие волосы – ему и неудобно так, и мешаются, но никак не сходит в парикмахерскую – жаловался. Скоро буду как девчонка длинноволосым – жаловался.

- Ну не знаю. Взрослый человек, мужчина. Вот я в девять лет играть перестала. Или вы учились?

- Нет. Я другому учился. Похожему, но не этому.

- Отчим говорит, что вы даже институт не закончили.

- Я закончил. Я диплом не защитил.

Мне хочется сказать, чтобы она замолчала.

Но она кивает так, словно понимает всё про диплом, про институт. А откуда её понимать – у неё-то в семье и высшего образования ни у кого нет. Я знаю – однажды Анна

Владимировна на классном часе всех спрашивала. У мамы нет, сказала Алина и подняла глаза. Отчима тогда не было.

- Понимаете, девочки, - он садится с нами рядом, смотрит. И что он расскажет – нам пятнадцать. Я отчего-то почувствовала остро.

Нам не расскажет.

А мне?

- Хотите чаю?

Мы хотели. Сказал, что сейчас поставить воду греться, а пока можно посмотреть всякое барахлишко его – хотя таким большим, наверное, уже и скучно. Он смотрел на Алину.

Ей вовсе не скучно было, но сидела напряжённая, прямая, и словно бы взрослая.

Смотрели кукольные волосы, рассыпали коробку с пуговицами и бусинами, собирали троём, по полу ползали, смеялись. Он принёс слойки из буфета, горячий электрический чайник и заварил чай в бумажных стаканчиках.

Его зовут. Отмахивается.

- Пойдём, невежливо, – шепчет мне Алина.

- Что? – вздрагиваю. Так бы сидела и смотрела, и чаем обжигалась.

- Вставай. Спасибо, - прощается за руку. Идёт первая к выходу. А потом оборачивается и спрашивает, - и вы с детства хотели здесь работать?

Я бы хотела. Самый большой театр для детей, самый известный. Как потом оказалось – и Александр Сергеевич известный, про него передачу по телевизору показывали недавно. Может быть, я его спектакли и в детстве видела, но не помню. А родители водили в разные места, старались, чтобы я слушала всё, и оттого сами не могут вспомнить.

- Нет, - говорит Александр Сергеевич, - не хотел.

Провожает нас до двери, открывает сам.

А мне говорит - ещё приходи.

Стесняюсь.

То есть он нам обоим говорит, но мне обидно думать, что зовёт и Алину.

И чего она пристала, в самом деле. Институт, диплом, хотел ли. Какая разница.

Я приду.

Говорю.

И вместо школы месяц хожу в мастерскую, и даже седая женщина устала узнавать, улыбаться – проходите, Анечка, он ждёт.

*

Ни черта не знаешь.

Ни черта не знаешь, а говоришь.

Щенок.

С тобой как с человеком.

А ты.

Зачем ты?

Мам, я ничего не хотел плохого. Я просто не помню.

Чего ты не помнишь? Ты большой уже был. Всё помнишь. Но нравится меня мучить. До слёз доводить. Скажи – нравится? До бессонницы. Всем делаешь плохо. Всем. Помню, как

поднималась однажды по лестнице и услышала – поёт кто-то. И в голос поёт, радостно. Смотрю – Дина со второго этажа вышла, заспанная. Сказала – со смены утром пришла, легла спать. А тут запел кто-то, разбудил. Не знаете, кто поёт? Тоненько так ещё.

Сказала – не знаю.

Ведь обманула. Обманула.

Это ты пел – какую-то идиотскую песенку, которую услышал по радио и заучил. И песенка-то от лица женщины, и по радио женщина пела. Но у тебя голос мальчишечий – точно женский. Потому Дина и не поняла, кто поёт. Думала – девчонка.

А я соврала, понимаешь?

Вошла в квартиру, крикнула. Ты перестал. И только-то. И сегодня из-за тебя не высплюсь, из-за разговоров твоих, а завтра на работу...

- Завтра суббота, зачем ты говоришь неправду?

- А ты думал – каково годами на диване на кухне спать?

- Говорил – давай поменяется. Я на кухню совсем перееду. С вещами.

Не надо мне одолжений твоих. Я знаю. Сейчас – с вещами переедешь, а завтра расскажешь в школе – какая мамаша вредная, плохая.

Я никогда про тебя плохо не говорил. Никогда.

- Никогда? – мама ставит на стол чашку. Громко, - тогда почему Оля, которая продавщицей в магазине, в молочном отделе работает – встретились на улице, случайно – ну, кивнули друг другу, а она такая – Лидка, пить заканчивай, уже и по морде видно? А ты сам скажи – видно? И я пью разве?

От неё раньше часто пахло вином. Да. Вечером, когда приходила, уставшая и пустая, и садилась на табуретку, и оставалась недолго, а потом поднималась.

Пахло.

Не понял бы, что это вино, но физруку пахло точно так же.

А сейчас? Сейчас что, разве заметно?

Раньше встречал в коридоре, дожидался. Теперь...

Саша смотрит на лицо, на длинные прямые волосы. Раньше красила, потом перестала. Кажется, что она решила перестать с того года, как папа ушёл, но как-то сама привыкла к химии, к краске, что они уходили медленно, точно неохотно, и ушли только в девяносто третьем, когда и в гостинице проработала долго – так долго, что Наталью уже не боялась и считала. Даже домой звала.

Только та приходила всегда без Маши.

- Так что? Заметно? Нет? Посмотри, по глазам всегда видно – пьёт женщина или нет.

Он смотрит. Он не знает.

- Почему ушёл? Не знаю. Я не знаю. Я до сих ищу причину. Приходил, а я дома, с тобой. Читала вслух, готовила, убиралась. Он приходил, смотрел. На меня, на тебя. Думала – на работе что-то не так, он же преподавал в военном институте, не помню точно, что... Думала – начальство вздохнуть не даёт свободно, за каждую бумажку отвечать заставляет. Или студенты шербутные, не знаю... Сама по детям видела, что тяжело и сидеть, и слышать, но ведь на лекциях у него взрослые – должно уметь себя вести. Я думала. Ни о чём не разговаривала, не хотела волнений. А потом, в апреле – что рассказывать, ты сам должен прекрасно помнить. Апрель. Тебя не было дома.

Я сидела на кухне и красила глаза перед маленьким зеркалом, как вдруг увидела Сергея за спиной. Он вошёл тихо, дверь за собой прикрыл. Я не обернулась, потому что подумала – он воды попить, или съесть что-нибудь, или сказать, чтобы я быстрее собиралась – опаздываем на клятву пионера к сыну, нехорошо. Но Сергей почему-то молчал. Смотрел на меня в зеркало. Тогда я закрыла тушь и обернулась. В зеркале казалось, что он грустный – и вправду так. Грустный, усталый. Точно несколько ночей подряд не спал. Я сама засыпала скоро, ничего не чувствовала, не замечала.

Что он не спал, в потолок смотрел.

Долго.

Всю ночь или даже больше.

Что случилось? Спросила. Сейчас глаза накрашу – и пойдём.

Подожди. Сергей подошёл, сел на стул, отодвинул зеркало. Подожди, пожалуйста.

Ты что? Мы же не успеем.

Успеем. Поговорим?

Я сразу почувствовала неладное, но злилась – можно было и вечером поговорить, и вчера, и позавчера. Ребёнка в пионеры принимают. Отличника. Гордиться надо.

Сергей поморщился, отвернулся. Гордиться. Чем. Да там половина его одноклассников.

Всё равно. Старался. Говори.

- Лида, не могу так больше.

- Как?

- В мамину квартиру вернусь, не могу.

- Ты о чём? В какую – «мамину»? Зачем тебе возвращаться?

- Подумать. Не плачь, пожалуйста.

Я не плакала. Помнила, что глаза наредила нетщательно, слегка, небрежно. Нужно красивой быть.

- Поживёте с Сашкой одни. Недолго. Мама меня тоже долго-то терпеть не станет.

А я знала, что станет: мама его – тихонькая старушонка, ты и не помнишь, поди. К себе никогда не звала, да и меня видела пару раз – когда мы после свадьбы к ней в Мурманск приехали, и потом, на похоронах отца Сергея. Твоего деда. Нечего плакать. Ты его помнишь будто. Да и бабу.

И Сергей чемодан взял, который собрал уже тихо утра, пока я завтрак варила, причёсывалась, красилась.

Сказал, что к памятнику не пойдёт. Без него обойдутся. Пионеры, тоже мне. Страны почти что нет, а они выдумали. Вокруг бы поглядели вначале.

Нет, он, конечно, выдумал какую-то хорошую и благовидную историю – дескать, мать заболела сильно, нужно ухаживать, в поликлинику водить, продукты покупать. Я так думаю, что продукты покупать могли бы и соседки. А что? Старуха целыми днями с ними. Подружки. Или они только языком трепать могут?

(Впрочем, чёрта с два Танька из восьмой квартиры мне бы за лекарствами ходить стала. А ты станешь? Станешь?)

И я сказала – хорошо, обойдётся без тебя. И там, возле Исторического музея, и вообще. Ты что себе думаешь? Думаешь, я была рада больно за твоей частью ездить? Это ты с севера, из какой-то дыры, откуда северное сияние видно, и одна половина города –

военные, а вторая – алкаши? Да и военные тоже алкаши. Просто у них это парадное, оправданное.

Первый год он писал. Каждый месяц. Мол, маме скоро станет лучше, на улице холодает, метель, как там Сашка, растёт ли, прошли ли ухо больное.

А потом я перестала отвечать, а начала ленточками перевязывать и в секретер складывать. Не суйся туда только. Ясно? Я тебя убью, если будешь в наших письмах копать. Потому что ответы я хоть и не отправляла, но писала.

Тогда в школе стали платить совсем мало, и я уволилась. Приятельница предложила идти в гостиницу – горничной или ещё кем. А что тут зазорного?

Не знаю, как твой отец в Мурманске устроился. И знать не хочу.

Мы обошлись.

Правда же, Сашка, мы обошлись?

Утром Саша замечает в мусорном ведре бутылку из-под портвейна.

*

Пришла, на прежнее место села, положила дневник перед собой.

Шушукаются кругом – почему в конце четверти пришла?

Алина молчала, не рассказывала обо мне, хотя расспрашивали, наседали.

Заболела? Переехала?

Соглашалась, не объясняла.

И вот вхожу в весенней маминой кофточке и старых джинсах.

Анна Владимировна сразу ко мне.

Аня, ты почему в школу не ходишь? И родители не знают, и никто не знает – о чём думаешь? Ты не сдашь экзамен, нипочём не сдашь – даже если сядешь готовиться прямо сейчас, обо всем забудешь. С компанией дворовой связалась, да?

Связалась?

Они же курят, Ань, и пьют, Ань.

Зачем тебе?

И тогда говорю – при всех, при ребятах, при Алине:

- Я сюда больше никогда не приду.

Тогда Анна Владимировна вспоминает что-то важное – о чем ей, наверное, говорили в пединституте, а она почти забыла из-за хорошей школы, где, в общем, вежливые и тихие дети, и дерутся редко – и переводит разговор на неважное, на других. Ребята словно бы и забывают обо мне, не смотрят.

Только Алина смотрит.

Я ведь не села с ней – села на своё прежнее. А их пересадили, пока меня не было – поэтому странно и непривычно, но со мной-то, со мной по-прежнему никто не сидит – будто нарочно.

Анна Владимировна переписывает из журнала четвертные оценки ко мне в дневник. Они, в целом, хорошие. Только по математике три, и по труду тоже три. Я ведь так и не связала ничего крючком, не принесла. Да и не научилась толком.

- Дневник отдам родителям, - говорит Анна Владимировна, - если уж ты так всё устроила, чтобы они трубку не брали.

Я не устраивала.

Просто папа до вечера на работе, а пока иногда после уроков ложится поспать часочек – и тогда мы выключаем телефон, просто шнур выдёргиваем.

- Хорошо, - я выхожу в коридор, а там ждёт Алина – грустная-грустная, окаменевшая. Что, говорю. Что?

И знаю, что не из-за двоек, да и нет двоек у неё.

Что?

- Что случилось?

- Ничего, - Алина улыбается, - уже всё. Мне просто показалось... не бери в голову. Прошло.

- Не понимаю, - идём по улице, по сторонам не смотрим. Алина размахиваем дневником в такт шагам.

- Знаешь, этот старый козёл вчера в ванну вошёл, когда я там была. Извинился, понятно. Думал, что там никого. Но я не знаю...

- А мама что сказала?

- Ничего, - Алина останавливается на светофоре, - её дома не было. Я и сегодня её не видела.

- А скажешь?

- Не знаю.

Мы молча переходим дорогу. Алина снова прошла дальше и должна будет вернуться. Только уж мы не покупаем сладостей в палатке.

И только когда прощаемся, думаю – а на меня она почему глядела, причём здесь я? У меня-то дома почти хорошо, спокойно. И комната своя есть, и родители не развелись.

Это плохо, что он к ней вошёл. Даже представить не могу, как плохо.

Я захожу в квартиру, оставляю дверь открытой. Всё равно сейчас папа придёт. Сегодня пятница, короткий день.

Я жду папу в прихожей, ботинки не снимаю – он заходит в темноту, останавливается – ты чего? а мама где? А мама не пришла, с тетрадками возится. А я больше в школу не пойду. Я не спросила – можно ли. Папа ставит сумку, снимает пальто – садится рядом расшнуровывать ботинки.

- Папа, мне нужно тебе сказать. Я в школу больше не пойду. Нужно сходить к Анне Владимировне, забрать дневник. Она мне не отдаёт. А больше не приду.

Папа ищет тапочки и никак не може

- А куда придёшь? – говорит.

- А куда нужно идти, чтобы на сцене играть научили?

- В театральное училище. Видимо. Я не знаю.

Молчим долго, а потом слышим ключ в замке – идёт мама, ставит пакеты с тетрадками на пол, вешает пальто рядом с папиной курткой, замечает нас. Так сидели бы, несчастные, и ждали, когда придёт и разберётся.

- После девятого класса в театральное берут, - говорит мама, - так ты бы у Сашеньки спросила, он же заканчивал? Может, и посоветует что.

- Хочу, чтобы он не знал. Чтобы удивился.

А давно ли мама стала его Сашенькой звать?..

И не знаю, как объяснить. Но мама понимает.

Чтобы удивился.

Вот так.

Чтобы сказала – я тебя на спектакль приглашаю.

На какой спектакль?

На мой.

Я потом придумаю название.

Как это – твой спектакль?

Я в нём играю. Начало ровно в семь. Приходи.

И он придёт и увидит, что мы одинаковые.

- Вафли купила, - говорит мама, - сливочные. Будешь?

Молчу.

- То в музыкальную школу обратно. То вдруг в актрисы. Ты уж определись.

- Я не знаю.

- Но учительнице ты позвонила?

- Ты сама хотела.

Мама молчит. Она хотела, верно. Сама предложила – когда я Шопена играла. Но, видно, решила, что через время передумаю. И я передумала.

Мы едим сливочные вафли – свежие, хрустящие. Мама всё время покупает сладкое в маленьком магазине возле метро – там печенье и конфеты лежат в больших коробках, потому что привозят прямо с фабрики. Мама и с продавцами дружит – а те ей рассказывают, какие конфеты уже месяц лежат, а какие привезли только.

А когда я заходила – никто не разговаривал, и даже радостно как-то было – здесь никто не знает, что я дочь полноватой женщины с длинными, кудрявыми от химической завивки, волосами, яркой помадой не к лицу, голубыми тенями, что она с первого курса пединститута себе делает.

Часто боюсь иметь общее, боюсь её помаду брать.

- Ань, я тут прочитала... Только не обижайся. Что у него дипломном спектакле какой-то страшный скандал вышел, что ему всего-навсегда справку об окончании института дали, и восстанавливаться запретили. Он тебе ничего такого не рассказывал?

- Рассказывал.

Знала, что спросят.

Он не любит об этом

- Так что? – мама берёт ещё одну валю, - тебе подлить горяченького?

- Не надо. Мам, там всё просто было. Это была политика.

- Да какая там политика – это в девяносто девятом году было, недавно совсем.

- Не знаю. Его мастер из-за этого из института ушёл. Саша думает, что это он виноват.

- Да что уж там, - мама вздыхает, жалеет, - лежачего не бьют.

*

Выпускные экзамены сдал легко.

Можно было не думать, куда дальше – всё определено. Он помнил. Они договорились. Он сам нашёл адрес института, сам позвонил. Сказали – да, приходите. С собой ручка, паспорт. Вода. Больше ничего.

Он взял бумажку с адресом,

На бумажке написано – улица Радио, институт. Жёлтое здание, а там найдёшь.

Подскажите, пожалуйста, как к улице Радио пройти?

Не знаем, не местные.

Не знаем.

Увидел жёлтый дом, обрадовался, побежал. Оказалось – другой дом, административное здание. Увидел, охранника, подошёл.

- Здравствуйте. Не знаете, где институт? Должен на этой улице быть.

- Должен, - охранник лениво показывает, - до конца улицы и налево. Ты, наверное, пятидесятый, который спрашивает. Экзамен, что ли?

- Да. История, устная.

Охранник кивает. Пятидесятый. Москвичи потерялись, и приезжие потерялись.

В небе стоит жара, мужчины ходят в рубашках с короткими рукавами. Только охранник в форме, оттого и надоели все. Саша благодарит.

Сам аккуратно одет, как положено. Мама велела – экзамен, первый, по специальности. История. В аттестате пятёрка, но кто знает, как в институте спрашивают? Сама, помню, на истории КПСС срезалась, даже стыдно. То ли дату не помнила, то ли ещё что.

Мам, да сейчас такого не спросят.

Не спросят, почему?

Ах, да. Я всё время забываю. Но рубашку-то надень белую, надень. Чтобы как люди хоть в этом быть.

И Саша надел белую рубашку, умылся одеколоном, который мама недавно покупать стала. Мама изменилась. Меньше кричала – только просила вечерами не уходить, быть вместе, телевизор смотреть. Он не уходил.

Всё равно полдня после школы оставалось на всё – и он играл, играл на папином немецком фортепиано, придумывал куклам танцы. А месяц назад придумал совсем новое – стал петь за кукол. Пытался на разные голоса – ведь не может быть так, чтобы и Кот в Сапогах, и Принцесса, и маркиз Карабас одним голосом пели? Он стал пытаться. Тихонько вначале.

Саша идёт до конца улицы и поворачивается налево. Асфальт кусками пошёл, трещинками – не от жары, от запустения. Видит решётку забора, листья деревьев.

Возле проходной стоит парень в тёмной рубашке и курит.

- Извини, это институт?

Кивает.

- Абитура?

- Да.

- Все уже зашли. Тридцатая аудитория. Там Грач сейчас верховодит, козёл старый. Орать будет, что опоздал.

- Искал долго.

- Ага. Да что теперь – Грач всё равно выгонит, хоть что ему говори. А даже если не выгонит, всё равно завалит – он, гад, каждого в лицо помнит. Так что приходи, парень, в следующем году.

- Ты серьёзно?

- А то. Да я сам Грачу восемь раз пересдавал. Уж и деньги подумываю ему предложить. Но он такой гад – не возьмёт. Топаи домой, учи.

Мама говорила, что нужно обязательно поступить в этом году. Но Саша не вспомнил, почему.

- Я не боюсь Грача. Я хорошо знаю историю.

- Дело не в том, как знаешь. А что он каверзные вопросы начнёт задавать. Вспомнишь год, а он такой – а какого числа? Спасибо, хоть день недели не заставит назвать. Впрочем, мне-то что. Хочешь – иди, проверь. Но тогда и на следующий год можешь сюда не соваться – запомнит.

Саша пошёл вперед к проходной.

- Эй, погоди!

Оборачивается.

Парень в тёмной рубашке бросил сигарету на асфальт.

- Погоди, я пошутил. Я тоже поступаю. Тут просто какие-то старшекурсники стояли, про одного преподавателя рассказывали, Грачёва. Мол, строгий. А так я больше не знаю, ничего, придумал. Пойдём?

Саша кивает, улыбается. Поверил ведь. Поверил. И веселый парень, ловкий. С ним, наверное, и экзамен сдавать будет интересно.

- Да ты что странный такой, всему веришь? Ты откуда?

- Из Москвы.

- Ух ты. А я с Рязани.

- У вас там все курят?

- Все. С седьмого класса. А некоторые ещё раньше. Пошли, а то и взаправду опоздаем. Ты молодец, что так легко не сдался, конечно... Но если б правда? Завалил бы тебя старикан – и что тогда? Или в армию хочешь? Самое время.

- Нет. Не хочу.

Может быть, этого и боялась мама?

- Поэтому ты старайся ответить там, перед ними, хорошо. Почему на историка пошёл?

- Я люблю историю, - привычный, заученный ответ. Но парня почему-то не устроил – обернулся даже.

- Все любят. Вон, бабки у нас у нас вечно в парке на лавочках сидят – и те исторические романы читают.

- Я смотрел – в новостях показывали, - вдруг медленно говорит Саша, и они снова останавливаются, - показывали нашего пленного, у *них*. *Они* снимали, сами, записали на какую-то кассету, качество плохое, рябит всё, размазывается, но всё-таки можно понять, что там, на плёнке. Диктор сказала – уберите от экрана детей, но мама не слышала, она на кухне была. Там парень, солдат, такой же, как мы, одетый в какие-то тряпки. А *они* кругом встали. И смеются. А потом один из *них* велит ему положить палец на – я не знаю, как называется – на дуло автомата, и стреляет. И все смеются. Потом запись обрывается. Чего-то хотели, требовали – я не знаю.

Парень с Рязани молчит.

- Ты говоришь, - начинает, - сказали, мол, детей от экрана уберите. А мама твоя далеко была. Но ведь это недавно началось.

- Недавно. И что?

- То, что ты тогда не был ребёнком.

- Да, - говорит Саша, - не был.

Они проходят внутренний двор – выметенный, чистый, солнцем залитый. В клумбах – тёмно-голубые цветы, чуть высохшие за лето – почему-то дождя ещё не было, и Саша уже тревожно смотрел на молодые деревца возле дома. Высадили, собрались – а воды нет, и земля плохая, песок. Даже придумал в обыкновенную детскую лейку в форме петушка воды налить и полить деревья.

Весь дом смотрел.

И мама потом плакала.

Ему уже тогда семнадцать исполнилось.

- Нет, ну как ты так поверил, - бормотал парень. Его зовут Гоша, и он уже закончил в Рязани ПТУ, но не захотел быть никем таким – то ли руки оказались неспособными, неправильными, то ли просто захотел уехать – пожить в общежитии, московскую жизнь узнать. Потому что расспрашивал – куда ходишь, где с девушками познакомишься?

Не хожу, отвечал Саша.

Не знакомлюсь.

- Как это? – остановились перед аудиторией. Там шумно, муторно, весело – никакого Грача нет, да и существует ли он?

- Я гулять люблю, - говорит Саша, - на метро кататься. Вначале одна ветка, потом – другая. Выхожу на каждой станции по очереди, изучаю. Знаю теперь все деревья, все сады, плитку, лица. Разные лица. Есть грустные люди – они вверху серой ветки живут почему-то.

- А ты где живёшь? – Гоша смотрит. Почему-то без всего на экзамен пришёл – без учебников, конспектов. Ни сумки, ни портфеля. Так, деньги и сигареты в карман положил и пришёл. Приехал. Из Рязани.

Саша был в Константинове, на экскурсии с классом. Почему-то так больно было, что не дышал. Маме сказал – велела пойти в поликлинику и сделать рентген. Боялась всё, что после того случая на остановке и зимы, которую без куртки прошёл, после болезни – что-то да останется, незаметное, вредное.

Саше казалось, что ничего.

И писал, и пел, и куклам наряды шил.

Но иногда...

- Пойдём, сядем. Мест мало.

Саша садится за последнюю парту, рядом с полной испуганной девушкой. Старается улыбнуться, но не выходит – что значит, что *больше* не ребёнок? Был ли какой-то порог, предел, которого не заметил, перешагнул?

Или то, что стал одеколоном умываться и нашёл отцовскую бритву, сбережённую мамой на случай – уже значило, и нужно было смотреть внимательнее на себя?

Но ведь не смотрел.

Гоша садится на подоконник, потому что больше некуда.

Саша встаёт под взглядом полной девушки – садись?

Гоша как на дурака смотрит.

Как на дурака, правда.

Подходите по очереди – первые десять человек, которые вошли. Говорит преподаватель. Никто не идёт.

Саша поднимается. Он не понимает, почему нужно молчать, если преподаватель велел подойти. Из-за этого за его спиной пересмеиваются, переглядываются.

Саша не видит, как Гоша молча показывает им кулак. Тишина. Гоша – высокий, крепкий, с большим лбом и выгоревшими на солнце волосами. Наверное, гулял по своей Рязани долго, на небо глядел.

Саше берёт билет. Там два вопроса, а у преподавателя волосы седые из ушей растут. Саше жалко, что никто ему не скажет.

Колониальный период в истории Латинской Америки.

Послевоенная экономика СССР.

Что рассказывать нужно, помнит плохо, но все вокруг под партами шелестят страницами конспектов, а девушка-соседка учебник открыла. Преподаватель в свои листочки смотрит, не замечает.

Но Саше кажется, что вспомнит.

И он вспоминает.

Преподаватель морщится.

Я что-то не так сказал?

Всё так. Продолжайте.

Саша рассказывает, что в 50-е годы сельское хозяйство вернулось к довоенным показателям.

- И что – всё? – перебивает преподаватель. Он старый.

- Нет. Ещё голод был.

- Когда?

- В сорок шестом. Кажется. Была засуха.

- Кажется, - преподаватель смотрит презрительно, - всё-то вам кажется. Историка не должно казаться.

- Меня там не было

Преподаватель молчит.

- Рассказывать дальше?

Нет, молодой человек.

Фамилия ваша как?

Саша говорит. Встаёт и молчит, и не решается сказать про седые волосы.

Идите, говорит преподаватель.

Через три часа на дверях повесили списки.

Они искали вдвоём фамилию Гоши, но её не было.

- А этот парень, - Гоша поднимает глаза, - ну, тот, которого ты в новостях видел, солдат... что с ним дальше стало? Когда выполнили требования – его отпустили?

- Про это ничего не сказали в этом выпуске, а на следующий день я не стал смотреть.

- Понятно, - Гоша закурил и словно бы не расстроился совсем.

*

Мы с ним условились: я хожу в школу, делаю домашку, с Анной Владимировной разговариваю тихо, вежливо; а он учит. Вечером.

Чему?

В гримёрку поставили старенькое пианино – с чёрными кругами от горячих стаканов на крышке, пыльное, рассохшееся; но настроили, подлатали, звучит. Просил играть, не забывать – и дома играла, и ему, даже сочиняла простенькое. Его любимая книжка –

сборник немецких народных песен: поём на два голоса, дурачимся. Потом – романсы: считает сложнее, потому что в русских словах словно бы больше смысла.

И как поёшь, погляди?

Поёшь без солнца.

Пыталась петь тихонечко, солнечно, улыбалась ему, стенам и фотографиям умерших актеров на стенах, куклам.

Однажды говорит – после девяти сможешь остаться?

- А зачем?.. – не испугалась, в глаза посмотрела.

- Нужно, - смотрит сценарий, и мешать нельзя. Села в уголок, учебник истории открыла.

Он оранжевый, растрёпанный.

Как испанские власти запретили выращивать в колониях виноград, потому что боялись соперничества. («Колониальный период истории Латинской Америки», параграф тринадцать). На уроке не рассказали, сказали – читать, пересказывать. В дневник не записала, но помню.

Параграф тринадцать, колониальный период истории Латинской Америки.

Завоевав обширные колониальные владения, испанцы создали такую же систему управления, как у себя на родине.

У исторички белые завитые букли, густо набрызганные лаком, и голубой джемпер с горлом, и брошка с блестящими стразами.

Говорит, смешно раскачиваясь из стороны в сторону.

В пятом классе мальчики ходили по коридорам и тоже качались – изображали. Потом надоело.

Говорит смешно – растягивает слова.

Паша даже спросил однажды – простите, вы нерусская?

Все в смех. Она поняла. Но почему-то Пашке ничего за это не было – может быть, пришёл отец и разговаривал.

Может быть.

В Испании существовала абсолютная монархия.

Вчера мама тихонько вошла в комнату и села на кровать – а обычно приходит папа, мы привыкли разговаривать, даже о школе, даже о неприятном. Мамино лицо блестит от крема – и непривычные глаза без чёрного яркого карандаша. Я даже подумала, что на её месте оставляла бы всю косметику на ночь, чтобы папа не видел некрасивой.

Ань, надо, чтобы ты нас познакомила.

С кем познакомила?

Не придуривайся. С этим твоим мальчиком.

У меня нет мальчика.

Знаешь, о ком я. Ань, завтра вставать рано. Давай поговорим, и пойду. Мы с папой хотим его видеть.

А я подумала – как он придёт к нам домой, и мама поставит на стол праздничный сервиз, станет резать торт со сгущёнкой и извиняться – слегка подгорели коржи, отвлеклась, но можно ножичком счистить.

Мам, он не захочет знакомиться.

Почему?

Занят в театре, у него репетиции, он и дома-то не появляется.

Тогда приедем с папой в театр. Ты же едешь.

Это другое...

Я встала с кровати, отошла. И страшно, страшно – вдруг и впрямь поедут, спросят у старушки в очках – проводите нас к этому, как его.

А он не поймёт – кто, почему. Да, прибегают вечерами девочка глупенькая, которая и поёт без сердца, и горбится, и стесняется. Будет смотреть в мамино лицо, рыхлое, некрасиво и неровно намазанное румянами.

Не приезжайте. Пожалуйста, не приезжайте.

Мама встаёт тоже.

Тебе скоро пятнадцать. Ты с мужчиной вечерами сидишь, и неизвестно, какие у него мысли!

Мужчина. Как глупо. Он Кармен мёртвую баюкал.

Мам, какие мысли? Ты что? У него нет никаких мыслей. Он кукол делает.

Вы не целовались? Скажи честно. Скажи.

Из колоний вывозили сахар, кофе, какао, хлопок, золото, серебро, драгоценные металлы.

Мы не целовались.

Я маме сказала.

И вдруг вспомнила глаза Алины – «всё уже, всё».

О чем она думала, когда рассказывала про отчима, про то, как он к ней в ванну будто бы случайно зашёл?

Мы не целовались.

В девять Саша говорит – пойдём, посмотрим.

- А что смотреть? – мне страшно.

- Сцену. Надо, чтобы все ушли. Свет сам включу.

- А зачем сцена?..

- Будем учиться ходить.

Иду следом, в темноту. Саша долго ищет свет, и включается только беленький, дежурный, но другого нет.

- А нам много не надо, пол видно – и хорошо. У тебя ботинки на каблучке?

На маленьком – только-только осенние надела.

- Иди на середину.

Иду по исцарапанному чёрному пластику, которого из зрительного зала не видно.

Стараюсь идти, расправляю спину – и ноги неудобные, несподручные, ватные. Иду.

- Замри.

Подходит, рассматривает, потом берёт за плечи – как куклу.

- А если бы не по сцене в полутьме шла? Ну представь – перемена, школьный коридор.

Что под ногами?

- Бетон?

- Бетон. Какой он – холодный?

- Холодный.

Холодный – однажды лежала, чувствовала.

Основная масса населения в колониях была очень бедна.

Родители редко покупали мне одежду, и поэтому я донашивала мамину.

Кто-то толкнул – нарочно, сильно. Можно было встать сразу, но не хотелось – лежала-лежала, пока отсмеялись, пока разошлись, пока классная пришла. Она спросила – чего валяешься? И отправила умываться в туалет.

Алина тогда не дружила со мной, отмалчивалась.

- Иди по холодному бетону. Он серый, в пятнышках, да? В прожилках разноцветных?

- Не знаю.

- Так посмотри под ноги! Пятнышки видишь?

Смотрю под ноги, на исцарапанный чёрный пластик.

Я иду по бетону.

Я вижу пятнышки.

Справа – кабинет черчения.

Слева – библиотека и кабинет биологии.

Пахнет мужским туалетом.

Девочки сидят по подоконникам, хихикают. Раньше собирали наклейки в альбомы, показывали друг другу, хвастались.

Теперь не то.

Я иду по коридору, и двери белые, закрытые, по обе стороны.

Куда иду?

- Куда идёшь? – он, эхом.

- Не знаю.

- Должна знать. Что под ногами?

- Пятнышки.

- Хорошо. Чем пахнет?

- Мелом. Туалетом.

- Хорошо. Куда идёшь?

Иду прямо, мимо белых дверей. Справа – кабинет информатики, слева – кабинет истории.

Коренные жители Америки были лишены гражданских прав и не могли занимать должности чиновников и офицеров.

У исторички был сын или внук – не могли понять, потому что слишком маленький, отстающий в развитии, что ли. Учился в другой школе, а потому приходил к ней, ждал, пока отведёт седьмой урок, заполнит журнал, закроет класс на ключ. Он никогда не раздевался – так и стоял в пуховике, в полосатой шапке. От нечего делать слонялся по коридору, отковыривал штукатурку со стен.

Слева – кабинет истории.

На мне полосатая вязаная шапочка.

К маме иду.

Говорят.

Смеются.

Вязаная шапочка.

Тяжёлый портфель.

Сбросить, у стены оставить.

Пусть.

Потом заберу.

Мама выйдет.
Потом заберу.
Вокруг рта красное, воспалённое, больное.
От апельсинов.
Мама сказала – не ешь, даже если угощают.
Угостили.
Я съел.
Теперь болит.
- Куда идёшь?
- К маме.
К маме иду.
- Хорошо.

*

Стоят на набережной под Кремлём, в темнеющую воду смотрят. Непривычно. Домой не пошёл, но мама на работе – никто и не узнает.

- И что он к тебе прицепился? Кажется ему... Даже такая дряхлая развалина, как он, не может помнить, что тогда было. Ты же всё правильно сказал – быстро вернулись к довоенным показателям, работали ударно, восстанавливали... У нас и историчка в техникуме так говорила. А она отличная тётушка, понимающая.

Саша смотрит в воду, различая жестяные банки, пластмассовую упаковку, какие-то обмылки – кто смотрит и бросает, кто мимо не проходит? Думает про себя – смог бы бросить?

Ему и обёртку от мороженого в урну страшно кидать, потому что поднимается внутри странное – точно не нужно бы следов оставлять, вообще ничего от себя оставлять нельзя – но ведь не понесёшь домой, когда ещё час в парке гулять.

Или экзамен сдавать, как сейчас.

Расстроился, когда свою фамилию в списке увидел.

В самом низу, понятно – но всё-таки. Разжалобил – видом неприкаянным, за который так часто ругала мама, или просто потому, что про колониальный период в странах Латинской Америки рассказал неплохо, бодро.

Нет, пожалел всё-таки. Профессор тот.

Ведь все знают. Все слышали.

А почему Гошу не пожалел?

- Я не слышал, как ты ответил. Что не так было? Какой вопрос?

- А, - Гоша отмахивается, - я и не надеялся. Я же не учил. А просто отец орал – у тебя ещё призывной возраст пять лет, вот и вали учиться. Платить они, конечно, не могут. Мать не работает, отец – крановщик. Но хороший он, отец-то.

- Ты не боишься в Рязань возвращаться?

- А что бояться-то? Работу найду, специальность-то есть. Не в Рязани – так в другом городе. Может быть, даже в Москву переберусь – там видно будет. Видишь, девчонка у меня в Рязани. Светка. Она школу в этом году закончит, но пока-то ей никуда умотать нельзя. А я, грешным делом, даже думал – если подфартит немного и поступлю на этого,

на историка, так и Светка можешь в следующем году поступить – будем вместе учиться. А если поженимся – то в общежитии комнату побольше дадут. Ну да что ж теперь.

- Ты в следующем году можешь попытаться. Или – в какой-нибудь другой институт, сейчас даже.

- Да что там, - отмахивается, - куда я сейчас пойду. У меня и денег-то только на электричку. Если не потерял ещё.

- Если что – у меня есть немного, я могу...

- Да всё в порядке, - Гоша поднимает голову. Его волосы кажутся светлыми в темноте, а звёзды красные над башнями – далёкими и холодными, как будто в детсадовскую спальню чей-то богатый папочка дорогие ночки купил, и воспитатели ходят на цыпочках, пыль вытирают, запрещают детям притрагиваться и никогда не включают, чтобы не испортить, - в Москве-то тяжело тебе жить?

- Почему тяжело?..

Гоша пожал плечами. Достал полупустую пачку сигарет. Когда возле институтских ворот купил – странно выглядело, словно бы нахально. Дескать, готовьтесь, зубрите, а я тут, на воздухе, постою.

- Курить будешь?

- Я никогда...

Но Гоша уже сигарету протянул. Взял, неловко затянулся. Видел в фильмах, как нужно. Старался не кашлять.

- Ты встречаешься с кем?

Саша качает головой. От дыма першит в горле.

- И что, дожил до восемнадцати лет – и ни разу? Ни с кем?

- У меня была подруга.

Считалось ли это? Считалось ли – что сидели вместе на подоконнике в гостинице «Спутник»? Считалось? Оказывается, она приходила, когда он в лихорадке лежал, долго. И не помнил. Мама сказала. Не пустила – чтобы не заразилась, а то Наталья, Машина мама, её бы убила. Так и сказала. Но Саша не помнил ни звонка в дверь, ни разговора. Может быть, мама всё придумала, чтобы он не чувствовал себя одиноким.

Взять больничный мама не могла.

Два дня посидела, когда температура совсем уж высокая была, когда врача ждали. Подменили на работе, чтобы начальство не заметило. А дольше нельзя. Дольше останешься – уволят и возьмут девочку, которая и на каблуках проворнее бегают, и красивая без косметики, и по-английски щебечет. В последнее время мама стала говорить, что иногда не успевает быстро принести блюда. На неё даже два раза кричали.

Потому болел тогда один, потолок рассматривал.

Перед кроватью стоял выключенный телевизор с серо-зелёным выпуклым кинескопом – очень старый, но новый им был и незачем. Мама смотрела только в выходные, а Сашка – только из интереса. И выключал быстро – начинала отчего-то болеть голова, остро и неприятно.

Сказал маме – плечами пожала. Не смотри, сказала. На что там смотреть.

Но во время болезни голова болела и так, поэтому он всё же включал и смотрел утренние передачи, потихоньку узнавая всё, что раньше проходило на улицах, в разговорах женщин в магазине.

Потому и понял, что Гоша имел в виду, спрашивая – что, ни с кем? ни разу? И понимал, что Маша не причём.

Может быть, он смог бы её научить петь за Принцессу.

Они бросают окурки в воду. Гоша пересчитывает мелочь на проезд.

- Ладно, я на Казанский, а то на электричку опоздаю. Куковал как-то на вокзале - тухло. Бомжами пахнет. Далеко до метро здесь?

- Нет.

Гоша кивает.

- Ну пока?

- Ты учи. Прямо возьми учебник, читай. Весь год. Чтобы поступить.

- Ладно тебе. У меня работа, некогда с учениками расслаживаться. И Светка школу закончит – не ей же работать идти? А ты учишь. Может, станешь кем-нибудь. Кем хочешь, кстати?

- Как - кем?

Вспоминает слова мамы – мы же решили? Решили? Будешь историком. Будешь детей учить.

- Ну, ты же всерьез не думаешь в школу идти?

- А почему нет?

- Да ты посмотри на себя. Заклюют. У Светки в классе в этом году парню-практиканту очки с четвёртого этажа выкинули. А одной старой училке свинью на двери нарисовали.

- У нас в школе такого не было.

- Теперь будет. Ладно, пойду. А то электричка.

Саша остаётся.

Свинью на двери нарисовали.

Для чего?

Они зачем-то обменялись почтовыми адресами, хотя Саша был почти уверен, что Гоша забудет в Рязани – про колониальный период стран Латинской Америки, Грача, козла старого, лёгкую промышленность, мутную тёмную поверхность Москвы-реки, безлюдную набережную, бомжей у перехода на станцию «Александровский сад»; про мальчика, который положил руку на дуло автомата, про *тех*, которые смеялись.

Да и сам надеялся забыть. Будет новое, сложное, другое – может, и развеселится-развеется сам, потому что в школе ничего подобного не было.

Но не забывалось никак.

*

Убежали как воришки – кто-то вошёл в зрительный зал, фонарик включил. Это охранница – шум услышала, шаги, голос. Он сразу – меня за руку, и за кулисы, дверь. А там до гримёрки два шага – спрятались, и нет нас. Без света.

Не дышим.

Хотя он же тут работает, он имеет право тут быть.

Не дышу.

- Ты чего? Испугалась?

Включает свет.

Свет выхватывает круги под его глазами – на неделе домой вечером не шёл, на кушетке засыпал. Если засыпал, а не сидел за работой, не читал, не шил. Рассказывал – с детства шил, на кукол сестры. Ругали за дело немальчишеское, сшитое выкидывали, если не успевал отдать, но всё равно раньше девчонок в семье освоил мамину швейную машинку.

А теперь мать сама отдала, и поставил в мастерской на столик.

- Это тётя Капа. Она безвредная, ночует тут. И настоящий охранник есть – её муж. А тёти Капы-то что бояться?

Тётя Капа, конечно, может по коридору пойти и заметить, в какой гримёрке свет горит.

- А почему тогда побежали?

- Просто не хотел встречаться. Она к Виталию Вениаминовичу ходит. Он не слушает, но все же она ходит.

Виталий Вениаминович главный здесь. Самый главный. Он нравится Саше. Говорит – лучший, с детства его постановки любил, и поверить не мог, что приведёт Господь и самого в этот театр, в труппу. Да и ещё собственные спектакли даст делать. И мечтать не мог. А теперь – своя мастерская, и куклы, больше не участвующие в спектаклях, в музее стоят.

- А что Виталий Вениаминович?..

- Он не слушает.

Включает настольную лампу – высвечивает рассыпанный бисер на столе, иголку. Я собираю бисер в коробочку.

- Хорошо, иногда слушает. В последнее время часто. Но это неважно.

Как будто я заставила, будто велела сказать. Но видела в последние дни – что-то не так. Смотрят, носятся. Перешептываются.

Это я виновата?

- Почему неважно? Тебя что, уволят из театра?

- Что за глупости. За что? Что я сделал?

- И я говорю. Ничего.

Он берёт расчёску и начинает быстро причесываться – волосы его, из-за того, из курчавятся к концу дня, становятся быстро спутанными и невозможными, отчего мне самой приходится разбирать. Но сейчас не даст, вижу – руку быстрые, нервные. И не остановится.

Надо ждать.

Скоро убирает расческу в ящик письменного стола.

Волосы зазолотились, растрепались.

- А чего Виталий Вениаминович хочет?

- Он не хочет. Не хочет мой новый спектакль утверждать. Но это ничего. Это ничего не значит.

- Как – не хочет? Он же всем доволен, всем.

- Про революцию спектакль. Что-то происходит. Ты же понимаешь.

Я понимаю.

- Я тебе рассказывал про мой дипломный?..

- Рассказывал.

Упоминал, да. Помню.

- Я его неправильно сделал. Неправильно придумал. Из-за меня ребята пострадали, и мастер... не хочу вспоминать. Я его Гоше посвятил. Я рассказывал про Гошу – парня, с

которым вместе на историко-филологический поступал? Это хороший парень был. Самый хороший.

Ничего не запомнила, ничегошеньки. Но переспрашивать не хочу – решит, что глупая, не понимаю, о какой войне речь.

- Я понимаю, успокойся.

Никогда не говорил так, никогда. Всегда мягко, спокойно. Словно бы для детей. Может быть, я после поцелуя выросла и теперь могу слушать про всё – про Виталия Вениаминовича, который может не утвердить его спектакль, про какую-то женщину, которая один раз положила в его ботинки две бритвы, а он заметил только на спектакле и ходил до антракта, стараясь ступать тихо, осторожно – но в танце всё равно порезал ноги так, что пришлось зашивать? Про то, как в гримёрку приносят именно те цветы, матовые белые лилии, на которые у него аллергия, да ещё и ставят так, чтобы он заметил не сразу?

Про хорошее тоже говорил. Но хорошее можно кому угодно.

- Анечка, у меня только предпоказ получился. До дипломного показа не допустили. Отчислили за «творческую несостоятельность». Но Виталий Вениаминович знал моего мастера. Поэтому взяли, поэтому я здесь. Но Гоши здесь нет. Я должен про него.

- Но ведь тут для детей надо, - пожимаю плечами.

- Ну так что? С детьми говорить не надо? А я не знаю, с кем ещё. Вон – с тобой говорю, - улыбается.

Молчим, долго молчим – разглядываю окна, простые тканевые занавески. Ведь стирал кто-то, с собой забирал, домой. Не та ли эта тётя Капа, которая теперь знает, что мы с Сашей вместе тайком на сцену выходили?

- Слушай, а тебе домой не пора? – вдруг смотрит тревожно. Сколько там, за окнами во двор. Одиннадцать, двенадцать?

- Не знаю.

Молчит, собирает бисер.

- Пора. Они там, наверное, уже в милицию звонили.

Надеваю пальто и бегу в коридор, и боюсь, что тётю Капы встречу. Но он показал давно, как из служебного входа выйти, на глаза не попадаясь. Огибаю театр по улице, закрываюсь платком от мороси, а на ступенях папа стоит.

Один.

- Пап, ты опять?..

- Опять.

Он курит, медленно, долго.

Бросил года четыре назад, когда какое-то затемнение в легких на флюорографии заметили. Курить бросил, снимков больше не делал – боялся. Стал делать зарядку, яблоки есть. И всё равно боялся – вдруг ничего не изменилось и не изменится, и он только зря радость тратит.

- Ну, - заглядываю ему в лицо, - давно собиралась домой.

- Да, - не двигается.

- Пап, пошли, холодно. Мама волнуется.

- Не волнуется. Я сказал, что ждать буду.

- А давно...

- Часа три.

Значит, когда по сцене ходила, мечтала – был. И дождь с полудня – мелкий, острый. Папа поднял воротник, а куртка мокрая, и волосы мокрые.

- Я ничего плохого не делаю.

Я не сделала ничего плохого, но страшно спускаться с папой в метро и садиться рядом, и рекламу разглядывать, и станции слушать, и молчать.

И в детстве наказанием было молчание, и до сих пор.

- Чем заняты были?

Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – «Полянка». Нам долго ещё.

- Разговаривали.

Папа не верит, глаза отводит – реклама скучная в вагоне, старая, и нечего смотреть. Мне стыдно, что он смотрит. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Но уступить место некому – вагон полупустой, поздно. А так бы встали, разошлись от обиды. Всегда молчал, когда расстраивала, и в детстве – хотя для него, разговорчивого, чуть ли не страшнее.

Говорю:

- Папа, ты думаешь, что мы с ним целовались?

Так долго молчит, что думаю – не ответит.

- Не знаю.

На станцию заходит компания подростков – двое парней, две девушки с длинными крашеными волосами, в одинаковых чёрных джинсах, разрезанных на коленках.

Хотела такие.

Давно.

Нельзя.

Коленки застудишь.

Непрактично.

Купи синие, нормальные.

Я хотела.

А что изменилось бы?

Стала бы ходить красивая. Не приставали бы. Не останавливали.

Да.

Дело в джинсах?

Или в чём?

В чём?

- Да, мы целовались.

Мне скоро пятнадцать, и мы целовались. Молчали, пока в метро ехали, пока по улице растаявшей, прорастающей шли, молчали.

*

Сашка привет.

Не знаю даже.

Что.

Вроде бы есть кому написать – а почему-то нашёл твой адрес на клочке бумаге и решил. Если ты меня не помнишь – плохо. Потому что я тоже плохо припоминанию – только что-то о том, как сдавали вступительный экзамен смешному дедуле. Он ещё до тебя докопался.

Старый такой, в пиджачке заношенном. А ещё шутил – мол, если опоздал к нему, то лучше и не соваться вовсе.

Как эти преподаватели живут только – получают гроши, а сидят.

А ты где сидишь?

Думаю, читаешь учебник, готовишься. Ты молодец.

Завтра нас перебрасывают в Хасавюртинский район, а потом дальше.

Да, ты верно понял. Пришла повестка, я пошёл, не прятался. Светка рыдала, понятно. Ничего, я ей тоже написал сопли не распускай, лучше за учёбу возмись. Экзамены плохо написала, на второй год оставили. Чёрт знает что. Но когда я вернусь мы сразу же распишемся. То есть мне-то всё равно, а просто – чтобы на неё косо на улицах не смотрели. Не знаю уж, как у вас там, в Москве, а у нас нельзя девке просто так с парнем жить, плохо. В очередях в магазин мужики скалиться будут, подмигивать. Да и бабы не лучше. Так что уж лучше расписаться спокойно, тихонечко. Да и Светка рада будет. Я думаю, что будет.

А ты нашёл себе кого?

Слушай, я вот почему написать захотел.

Просто не знаю, кому. Не матери же. Я, кстати, тебе её адрес на обороте листа этого напишу. Просто так, на случай. Вдруг в Рязани будешь, решишь зайти, навестить. Так она рада будет.

Потому что я теперь почему-то ночью спать не могу оттого, что думаю. И всё Светка перед глазами – в юбке чёрной, школьной, в кофточке цветастой дурачкой – знаешь, на таких маленьких пуговичках. Кофточка открывает плечи и белые застиранные ляпочки лифчика, перекрученные, беззащитные.

Зачем они одеваются так, чтобы эти ляпочки были видны?

Я теперь постоянно после отбоя вижу эти ляпочки.

Постоянно.

Я Светке не писал. Решит, что со мной плохо.

А всё хорошо. Просто встаю – а голова болит, будто обручем виски стиснуло.

В Дагестане очень тепло. Абрикосы растут на улицах, но лучше не трогать – тут один ими объелся, невымытыми, так до сих пор в медсанчасти. Глупость какая – умереть от поноса. Хотя тот парень не умер – хорошие лекарства дают, антибиотики. С ними-то проблем нет. Мы стоим рядом с каким-то посёлком – не знаю, как называются. Худые козы ходят, колокольчиками звенят. С ними пастух – знаешь, как в старых фильмах: чёрный, страшный. Смотрит всё, думает, что мы коз будем воровать или ещё что.

С обрезом ходит.

Я лейтенанту сказал, а он отмахнулся – мол, они тут все с оружием, хрен с ними.

Так у нас всегда за спиной эти пастухи, подпаски, старики, четырнадцатилетки, женщины, а не по себе.

Вначале мы ходили потихоньку в посёлок – ну знаешь, поглазеть, табака купить. Женщин на улице одних не встретишь, а если и увидишь ненароком, то они глаз не поднимают и делами своими не занимаются, пока ты не уйдёшь. Зашли в одну лавочку, в которой, по слухам, русским алкоголь продают. Спросили. Там женщина была, жена хозяина. Я посмотрел на неё – просто посмотрел.

Может, подмигнул. Не знаю, зачем.

Она старая была, тридцатилетняя.

А когда мы вышли, муж её ударил раскрытой ладонью. Я случайно обернулся и увидел.

Хотел кинуться, дать мужику в морду – но ребята удержали, за руки схватили. Ты что, говорят. Тут же их хренова туча сейчас целая набежит. Они же семьями торгуют, с соседями дружат.

А у меня... у меня как затмение какое-то нашло. Стою, в груди колет, будто стометровку пробежал, а до того выкурил полпачки «Балканки».

Я думаю, что муж её мудака.

Я совершенно точно думаю, что муж её мудака, но ведь не всё так просто.

Правда.

Ты мне скажи.

Я виноват?

Потому что если я виноват, то нужно сделать что-то обязательно, надо разобраться, найти эту женщину. Всё время думаю – а что, если ударом дело не закончилось? Что он сказал и что сделал ей дома, за закрытыми дверями? Слышал разное, страшное. Пока не видел, правда. Ту историю про парня с видеокассеты повторяют и тут.

Оказывается, в новостях тогда показали не всё – или ты и верно таким маленьким был, что ничего не запомнил.

Ты мне скажи.

Ты же хороший был, задумчивый такой. Наверное, Библию читал и всякие такие книжки.

Я виноват был? Я?

*

Весь вечер не разговаривали, испытывали. Я не извинилась. Мы ведь делом занимались, сцену изучали. Ничего такого. И я не виновата. Поэтому ушла к себе в комнату, легла в кровать. От постельного белья пахло стиральным порошком. Наверное, мама решила поменять, пока папа ждал меня под дождём.

Может, и виновата.

Может.

Утром сидела на кухне, и пришли оба – попросили книжку отложить, выслушать. Мама в чёрной юбке, грустная. Папа обычный. Сели напротив, я кофе отставила – говорите, что уж.

- Ань, принеси, пожалуйста, твою сумку с кошельком и куртку. И копилку из комнаты, - вдруг говорит папа.

- Зачем?

- Принеси, пожалуйста, - повторяет так, что я встаю, ищу кошелёк, и копилку, и мелочь из карманов. Всё на стол, звенит, катится. Что-то подает на пол – рубли, пятидесятикопеечные.

- Это всё?

- Да. Что ещё надо?

- Сядь.

Они переглядываются.

- Ань, мы с мамой вчера позвонили Александру.

- Хорошо. Вы позвонили. Дальше что?

- Мы спросили, известно ли ему, сколько тебе лет.

Ему известно, сколько мне лет. И сколько лет, и с кем в школе не разговариваю. И что моя лучшая подруга Алина живёт с отчимом, который подглядывает, как она одевается. Ему всё известно, всё.

Только про Пашку с Русланом рассказывать не стала.

Закончилось, и слава Богу.

Помолчали.

- Он сказал, что мы неправильно поняли. Что девочки-подростки влюбляются, ничего страшного нет, это недолго продлится, пройдёт. Я спросил, есть ли у него дети, - папа собирает монетки со стола.

- У него нет детей, откуда? – встаю, - вы думаете, что он старый, а он...

- Мы ничего не думаем, - папа прерывает, тянет за руку, чтобы села. Снова опускаюсь на стул, - почитали уже. Про возраст знаем. Нестарый, но и не ровесник. Да если бы и ровесник.

- Ну хорошо. Что вы думаете? Что? Что я замуж за него выйду?

- Мы хотим, чтобы ты закончила школу. Тебе не надо больше ездить в театр.

- И как же вы мне запретите?

Они никогда за запрещали. Ничего.

Говорили, советовали. Подшучивали. Не запрещали.

- У тебя есть карманные деньги, - папа показал на копилку, - сейчас мы их заберём. Я заплатил за завтраки в школе. Если что-то нужно – тетрадки, вещи – куплю сам. У тебя ни копейки не будет. Тебе будет не на что до театра доехать. И всякую ерунду покупать, всякую...

- Косметику, - говорит мама, - повадилась. Раньше у меня таскала, теперь ей свою подавай. Хоть девять классов окончи вначале.

Никогда не говорила так.

Никогда.

- А если мы с классом куда-нибудь поедем? С девочками? – говорю и чувствую, как горят от слёз глаза.

- Скажешь. Я сам Anne Владимировне отдам. А летом будешь заниматься, чтобы не получилось так, как в это полугодии. А то что это. Мне пришлось за дневником идти и чёрт знает что выслушивать.

- Она тебе сказала, что вы меня плохо воспитали?

Папа берёт копилку и ставит на полку. И он знает, что я ни копейки не возьму теперь.

- Пообещай, что больше не поедешь туда.

Качаю головой. Девочки влюбляются.

Это он так сказал?

- Это для милиции уже, понимаешь? – папа взрывается, - тебе шестнадцати нет! Этого хочешь? Этого? Тогда точно не будет ни Кармен, и кукол, ни платьев! Ничего! И он из-за тебя сядет, из-за глупой безответственной девочки. Что тебе там ночью надо было, всё равно так не поймешь ничего! Это же учиться надо, много предметов – почитай, как в театральных вузах учатся. Но тебя туда не примут, потому как без аттестата – никуда. А ты не получишь аттестата, если будешь драться за школьным двором и врать учительнице, что тебя встречает отец, хотя отец ничего, просто ничегошеньки не знает...

- Они меня подкараулили. Ты знаешь.
- Короче, - папа успокаиваться, - ты меня поняла. Страшно нам, так страшно. И страшно, что пришлось до такого дойти.
Но думаю, что ненадолго. После ты и сама поймёшь.
Ань?
Аня, что с тобой?
Кружится голова.
Вчера не ела, и так и легла голодной, не заметила.
И сегодня.
Нужно столько разговаривать, слушать.
Мама кладёт в мой чай три ложки сахарного песка. Размешивает. Ложечка звенит.
Дзинь-дзинь.
Это не ложечка. Это телефон?
У меня есть номер его телефона? Есть?
Кажется, я записывала. Записывала. На обложке тетрадки по алгебре. Или в словарице по английскому. Или на ладонях.
Я пью чай, сладкий и приторный, и горький – мама крепким заварила, невкусным.
Хорошо.
Я не могу больше.
Я обещаю.

*

Здравствуй. Конечно, я тебя вспомнил. И вовсе не потому, что со мной больше никто в институте не говорил. Наоборот – они оказались и добрыми, и хорошими, и весёлыми. И если в тот первый день немножко переглядывались и подшучивали надо мной за то, что первым пошёл отвечать – то больше никто не вспомнил, ни в сентябре, ни потом.

Тот дядечка, который у нас устный экзамен принимал, пока ничего не ведёт. Оно и к лучшему – как мне кажется, ему совсем скучно работать и разговаривать не хочется. Зато есть много других, интересных. Они хотят, чтобы мы сделались хорошими учителями. Я не знаю, хотят ли они, чтобы бы сделались хорошими историками.

В библиотеке книжек не выдают – сказали, что поменялись какие-то образовательные стандарты, и по старым учебникам заниматься нельзя. А купить новые институт не может – денег нет. Поэтому пришлось покупать самим. Мама ругалась. Учебники теперь ужасно дорогие.

Я неправ, что так пишу. Я вообще не должен был.

Если будет время, совсем перепишу эту часть – выкину про институт, про учебники. про профессора. Глупо получилось, ненужно. Как будто я маленький мальчик, и нет мне больше интересного кругом.

Допишу завтра, потому что мама пришла, и придётся ей про прошедший день рассказывать.

...

А в тот день, когда ничего не произойдёт – что буду говорить, как выкручиваться?

....

Нарочно встал утром раньше, вышел в коридор, посмотрел на дверь кухни – нет, полоски света нет, и у неё будильник не звонил.

Не потому, что не даст написать. Хотя и это тоже.

Она вечером опять пьяная пришла.

Думала, что я не замечу. А я и раньше замечал, но что сделаешь, скажешь – мама, не надо так? А она на стуле уснёт, и будить нельзя – потому что после будет несколько часов ходить, плакать, умываться холодной водой и говорить, что Серёжа сволочь, и что если он думает, что после него у неё никого не будет, то как же, размечтался. Домой водить буду, домой. Прямо в большую комнату.

А в большой комнате я сплю, и стыдно.

Ничего никогда не говорил, ни разу.

...

Когда буду переписывать начало письма, я и это зачеркну. Нельзя о маме. Ничего нельзя, ни полстрочки.

...

Знаешь, наверное, хорошо, что твоей фамилии в списках не было. Не то чтобы скучно. Но всё как-то одинаково. Мы приходим, и сидим, и слушаем. На переменах часто разговариваю с девочками, а они поправляют модно и коротко остриженные волосы, говорят умные слова, которые только в книжках встречаются.

Тебе бы, наверное, понравились эти девочки.

Но я забыл про Свету.

Пожалуйста, не говори ей, что я забыл.

Я думаю, что ты не виноват. Не потому не виноват, что не бросился защищать женщину – хотя я не знаю, что делал бы на твоём месте, поверь, не знаю. А потому не можешь быть виноватым, что думаешь о своей Светке неустанно, она тебе и спать не даёт спокойно, не отпускает.

А может, ты не из-за неё не спишь?

Может, ты видел что-то такое, о чём и рассказать нельзя?

Я знаю, что вы должны пройти через Хасавюртинское ущелье. Я никогда не видел ущелий и не представляю, как это – когда ты поднимаешь голову и видишь.

Ты видишь камни?

Ты видишь деревья, которые могут расти в скалистой породе?

Раз шёл в магазин и голову поднял – над входом бетонным козырёк, а на козырёк, видимо, земли немного ветром принесло, с семенами. Выросло деревце, чахлое, тоненькое. Сколько протянет ещё? Ходил мимо каждый день, всматривался. Кажется, оно до сих пор растёт.

Мне стыдно, что я постоянно о ерунде.

Кажется, это первое бумажное письмо, которое я пишу.

Или нет, второе – первое было в больницу, Маше.

Я не говорил?

Когда ты спросил тогда, когда мы стояли и смотрели в мокрую реку, грязную от фантиков и обмылков, есть ли у меня девушка. И я не ответил, потому что подумал, что не считается, когда – понимаешь, мы ведь и виделись раза три, и разговаривали мало. А

потом, когда от мамы услышал, что Маша в больнице с менингитом – сразу понял, что считалась, потому что сразу больно защемило грудь и захотелось плакать.

Как её навестить? Спросил маму.

Она давно лежит. Или лежала. Мне Наталья сказала, да только всё забываю тебе передать. А тебе интересно?

Мне интересно. Как её навестить?

Спрошу. Не плачь.

Я не плакал.

Но мама так часто просила не плакать, что – наверное, случилось, просто сам не замечал.

В Дагестане тепло, да? Скажи, правда ли на южном небе звёзды теплее и ярче, чем здесь, в средней полосе? Я иногда полночи всматриваюсь – не могу разглядеть ни одной.

Я не плакал, но ждал каждый день, чтобы мама новости про Машу рассказала.

И вот дождался.

Знаешь, я думаю, что всё считалось. Всё-всё, каждое словечко.

Маша умерла от менингита в детской городской больнице.

Я думаю, что ты не виноват ни в чём.

*

А утром в субботу мама попросила сходить в магазин – согласилась от безделья, когда не хотелось ни за пианино садиться, ни читать, ни в окно смотреть. Мама дала пятьсот рублей, глаза отвела.

До магазина хорошего далеко – если проспектом. Тропинкой быстрее.

Останавливаюсь возле гаражей.

Я не одна.

- Мы не договорили, - говорит Таня.

На ней красная кожаная куртка.

Та самая.

Алины нет, и никого нет.

- Что ты тут делаешь?

- Не договорили.

- Договорили.

- Нет.

Таня покрасилась – теперь короткие волосы красные в рыжину, яркие, красивые. Правда, Саша говорит, что у женщины коса должна быть – пусть не в руку толщиной, но всё равно. У меня коса. Но ведь всё равно возле гаражей останавливают, вот как теперь.

- Училка припёрлась, помешала. Ты сказала что-то?

- Да.

- Сучка, - говорит Таня. Вижу – за её спиной стоят, слушают. Взрослые, лет восемнадцати, парни – откуда? Или ходили с Танькой вместе, высматривали, где живу?

Не надо было этой дорогой идти.

Шла бы проспектом.

Кто-то вырывает из рук пакет с хлебом, бросает на оттаивающую землю, грязную. Но бьёт пока только Таня - вырывает волосы, хватается за куртку. Хочу пнуть, но кто-то держит сзади – пахнет сигаретами, резко и неприятно.

Чувствую резкую боль в животе, сгибаюсь. Она ударила – ногой, сильно.

- Витюх, держи.

От слёз разглядеть не могу.

Роётся в сумке.

- Держи, Витюх, - повторяет. – Давай.

Таня достаёт что-то из сумки.

- С ума сошла? – бьюсь, не пускает. У Витюхи толстые руки, сильные. Это от него сигаретами пахнет.

- Заткнись. Синявый, косу её держи.

Она режет ножницами – долго, неловко. Ножницы тупые, получается медленно. Я кричу. Кричу.

Кричу.

Зачем я папе наврала. Не стал бы со мной целоваться. Не стал.

- Заткнись, - повторяет Таня. Бросает косу на землю. Они отпускают разом, отходят – я кручу головой, непривычно лёгкой, больной, ищу.

- Ах ты тварь... – ору Тане, замахиваюсь. Сама плачу, слез не вытирая.

Какая-то бабка останавливается поодаль, крестится.

- Синявый, эта кошёлка сейчас ментов вызовет. Линяем.

Они бегут за гаражи – я следом ору матом, и бежать от злости не могу. Зачем-то поднимаю косу, сажусь прямо на землю. Бабка смотрит.

Ей всё равно.

У неё и мобильного-то нет.

Вхожу в квартиру, ставлю на пол грязный полиэтиленовый пакет. В кулаке, в пальцах с грязью и кровью под ногтями – коса.

Мама застыла на пороге кухне. В руках – печенье, и крошки падают на пол, но не замечает.

- Анечка.

Так и стоим друг напротив друга – без разговоров. Видит и кровь, и волосы растрёпанные.

Растрёпанные. Не смотрела в зеркало – страшно.

- Анют, чай пить! – из кухни папа выглядывает, весёлый, бодрый – выпался после работы, успокоился. – Ань, это что? Это кто?

- Никто, - сажусь на низенькую табуретку в прихожей. Глазам от слёз больно.

- Это далёко отсюда было? Далёко? Где? – папа берёт за плечи, смотрит в лицо, потом встряхивает – раз, другой, - скажи.

Качаю головой, слёзы смаргиваю. Мама застыла, растерялась – всё на грязный белый пакет смотрит.

- Скажи, - папа надевает куртку, наклоняется, - скажи, кто.

- Таня. Таня, из параллельного. Но она в школу мало ходила, ты не знаешь.

Застёгивает куртку и дверь открывает. Что папа хочет найти? кровь на траве? ножницы? волосы? Таню, которая давно сбежала и сидит где-нибудь у подружки, и смеётся?

(Что могла сделать? Громче кричать, с самого начала кричать? Просить милицию вызвать? Так ведь не били почти. Причём тут милиция.)

- Мам.

На лестнице папиных шагов не слышно.

- Мам, мне бы руки помыть. Мам.

Она вскакивает, бежит за полотенцем.

В ванной, когда отмыли, отскребли грязь, бросили в корзину с грязным бельём футболку, джинсы и куртку – а многое не потому, что стирать пора, но просто захотелось зашвырнуть, забыть.

В ванну села, шампунь для пены налила. Мама постучалась, принесла табуретку.

- Как теперь будешь?..

- Что? Волосы?

- Нет. Волосы что. Волосы пострижём. Эти ребята в твоём классе учатся?

- Таня – нет, Таня – в параллельном...

- А другие?

- Уже не учатся. Взрослые.

- Ага. А Таня в параллельном, значит. Слушай.

- Да?

- Ну не складывается, видишь. И в первом классе никто не разговаривал, и мальчишки пинали. И недавно Анна Владимировна звонила. Мы узнавали – можно в другую школу перевестись. Как тот мальчик, Паша. Можно хорошую найти – лицей или гимназию. Ты умненькая, читала много раньше, могут взять...

- Не хочу как Паша.

- Почему?

- Я не хочу, как Паша. Всё, я моюсь?

Уходит, табуретку уносит. Знаю, что грубо, и ни в чём не виновата. Волосы не мою, не трогаю. Не могу. Папа возвращается вечером и молчит, телевизор смотрит.

Утром достаёт бумажник, говорит – собирайся.

- Куда? я не хочу.

- В парикмахерскую.

Решил проводить. Сейчас думает про себя – буду провожать, всюду провожать, куда смогу. В театр не пушу. Нечего. Всё началось с Кармен.

Всё началось с Кармен.

Я давала ему номер телефона? Точно давала. Наверняка.

В парикмахерское кресло села – не помню, когда в последний раз была. Чёлку дома всегда мама подстригала, но тут папа не захотел, чтобы так было. Привёл, ждать в коридоре остался.

- Как подстричь? – улыбается в зеркало девушка-парикмахер – худенькая, нерусская. У самой стрижка короткая, чуть ниже ушей. А в ушах маленькие серёжки-гвоздики.

- Как у вас.

- У меня коротко. Разрешили?

- Да.

Хотя и не спрашивала. Она расчесала мне волосы, покачала головой – и кто ж тебе подстриг так неровно, сама, что ли?

- Сама, – киваю. Вижу папу в зеркале – взял журнал глянцевый, положил на колени. Через полчаса встала перед ним – ну что?

- Повернись.

Вижу пыльные новогодние гирлянды, кресло с зеркалом, полки с белыми флакончиками, занавески в лиловый ромбик, магнитофон на подоконнике, глаза, волосы, лица – люди ждут, листают журналы, разглядывают друг друга.

- Странно, - говорит папа, поднимаясь, - кажется, у тебя такая причёска лет в пять была. Потом-то косы расти стали.

Отдаёт за стрижку девятьсот рублей и даже не ворчит, что много. Не удивляется. Предлагает зайти в «Перекрёсток» за вафельным тортиком, фруктами, но нам праздновать нечего.

- А куда ходил вчера?

Вспомнила, потому что вечер просидел бездеятельно, скучно, ломко, смотрел подряд передачи – и «Пусть говорят», и новости, и другие. Ел пельмени, что мама на скорую руку пожарила. И чай пил с вафлями. Не рассказывал. И я не спрашивала, а решалась косу отрезанную в мусорное ведро бросить – и глупость, а ведь всё равно до последнего надеялась, что можно пришить, приклеить, вернуть.

- До гаражей дошёл.

- Увидел?..

- Там бабка какая-то околачивалась. Расспросил её. Разговорчивая оказалась, едва ушёл. Что ж ты не дралась?

- Дралась. Держали. Бабка не сказала?

- Сказала. Завтра в школу надо идти, помнишь?

- Помню. С бабкой поговорил – и всё? Ты в пять пришёл.

- Сейчас, - папа долго роется в карманах, - тут увидел, что новый спектакль. Подумал – ты, считай, три месяца нигде не была, надо сходить, развеяться.

- В таком виде?

- А что – причёска, наверное, модная. Держи, - даёт мне билет, на котором написано – «Любовь хулигана, кукольный спектакль». Билет один.

- Никто больше не идёт?

- А кто-то нужен? – папа машет рукой. И покупает всё-таки вафельный торт с орехами и килограмм мандаринов.

*

- Вы целовались? – спрашивает мама. Они идут из больницы, тихие. Уговорил маму пойти навестить – не соглашалась, говорила, что Маша выздоровела давно. Но настоял – нам ведь ничего не стоит, да и ты в субботу выходная. Купили полкилограмма апельсинов и поехали.

Потом Саша спрашивал себя – почему нужно было непременно ждать, пока мама оденется и накрутит волосы, кропотливо осмотрит каждый апельсин, чтобы случайно не купить гнилого; идти с ней медленно до метро, а в вагоне просить какого-то парня уступить маме место? И ведь стыдно просить.

Но не мог представить, как пойдёт один в больницу, потому что не знал точно, пускают ли в это время, и что нужно делать, если не пустят. Неловко чувствовал себя всегда перед

вахтёршами, охранниками, продавщицами – чувствовал вину, что пришёл попусту и некстати.

А с мамой – ничего, не страшно.

Встретили в коридоре Наталью – остановились, на лавочку, покрытую вытертой клеёнкой, сели. Наталья кричала. Так кричала, что не спросить было – что, куда повезут теперь, будет ли отпевание. Саша привык, что мама всегда спрашивает об этом – точно важно, точно обязательно нужно знать. Наверное, так ей легче. А когда умерла бабушка, все спрашивали маму – на каком кладбище, в какой конторе и за сколько похороны заказывала, и что с квартирой будет. Мама отвечала.

Наталья не могла.

Саша видел, как глаза её, состарившиеся с той их первой и единственной встречи, стали страшными, чёрными, словно тушь и карандаш для глаз от дождя растеклись. Она не говорила, не отвечала.

Что, что случилось, спросила мама.

Наталья не ответила.

Но они поняли. Они сели на кушетку, неприятно липкую, обтянутую блёкло-оранжевой клеёнкой – и Саша почувствовал странный запах какого-то антисептика, которым в больницах моют полы и стены.

И когда они вышли вдвоём и пошли медленно по светлому полупрозрачному больничному парку, ещё не затянувшемуся листвой, мама спросила – вы целовались?

И Саша подумал – что-то неправильно, непоправимо.

- А какая разница? – медленно говорит.

В лицо говорит.

В глаза говорит.

Ты не говорила.

Ты не говорила.

Не говорила, что она приходила, пока я болел.

Я говорила.

Нет. Я имею в виду – ты тогда не сказала, что она пришла. Она могла бы войти. Она могла бы...

- Вы целовались? – повторяет мама.

Саша молча идёт – вдоль лавочек и клумб больничных, выкрашенных в жёлтое, с влажной серой землёй, ещё не расцветшей апрельскими растениями, нежными цветами. Но уже прибранные после зимы, вычищенные – старались дворники, ходили, вымели сор и обёртки от жвачек.

Мама с трудом поспевает следом – на работе всё ещё нужно ходить на каблуках, прямой и красивой, но жалуется, что ноги к вечеру становятся горячими и тяжёлыми.

- Это не твоё дело, - говорит Саша, когда мама подходит ближе. Он ждал, не шёл. Возле клумб кто-то курил, долго, пепел стряхивал, а потом потушил о край, бросил. Саша разглядывал, а потом глаза поднял.

Долго шли, медленно, а потом взял маму под руку, потому что с ногами совсем плохо сделалось, пошатнулась, забеспокоилась. Что я тебе сделала, спросила. Что я тебе сделала. Для тебя. Для тебя. А у тебя в сессию четвёрки да тройки.

- Это не твоё дело, - говорит Саша.

Они приходят домой и впервые не идут вместе пить чай с клюквенными пряниками, но расходятся – он сразу в комнату, и видит с порога глаза кукол, у каждой из которых лицо Маши.

Мама однажды сжалась – мол, прочитала в газете, что такая профессия есть, чтобы с куклами всё время быть, не расставаться. Но для этого нужно сперва театральным режиссёром сделаться. А где учат на театральных режиссёров, спросил.

Сиди, сказала мама. И тут-то тройки одни.

Саша прибирается в комнате, вытирает пыль с подоконника, открывает окна – моет и их, потому что становится ярче, теплее, как будто и не было ничего неправильного, страшного.

И в тот же вечер пишет Гоше в Чечню – скажи, пожалуйста, можно ли найти – я не знаю, работу, подработку на вечер, так, чтобы самому, чтобы не зависеть, чтобы не спросить, чтобы маме легче было?

Важно ли это, что в сессии действительно тройки, хотя в школе подобного не было, да и быть не могло, а просто пропал запал, пропал интерес, и думаю только о Маше, о том, как она стонала в своей светлице, как держалась температура и болела голова, а потом включили свет и возникло лицо врача с тёмными морщинами на лбу, как унялась лихорадка, и ничего не стало. Так не могу перестать думать об этом, что не лезет в голову история древнерусского государства. И хотя ещё могу представить то, что не видел.

Думаю про кушетку, обтянутую оранжевой клеёнкой.

Почему Наталья не сидела на кушетке, почему и на секунду присесть не могла, а ходила по коридору, ходила? Означает ли это, что, стоит только присесть, как горе обрушится на тебя тяжестью бетонной плиты, придавит? А когда ходишь, руками размахиваешь, взгляд по стенам, до середины выкрашенным блёкло-зелёной краской, скользит и тоже не останавливается – легче?

Значит ли это, что я никогда не остановлюсь?

Я бы мог работать грузчиком. Это всё потому, что я сегодня увидел, как мама хромает и понял, что нельзя больше.

Я стану выносливее и сильнее.

Правда?

Гоша не отвечает.

*

- Здравствуйте, тётя Света, - улыбаюсь гардеробщице, отдаю пальто.

- О, вы пришли. А я думала, что только на Александра Сергеевича спектакли ходите.

- А сейчас разве не?.. – стою как дурочка – и ведь знала, что он готовил Есенина, стихи учил...

- Вы не знаете разве? Теперь Павел делает.

- Какой Павел?

- Ученик нашего Сашеньки. Хороший парень, а... – старушка виновато улыбается – мол, не хочу плохое говорить, да вот вырвалось, - да он вас разве не знакомил?

- Нет. Никто не знакомил. А где Александр Сергеевич, почему не он играет?

Старушка смотрит жалостливо, но и строго:

- Вот вы всё попрыгушки, молодёжь. Прибежали, поигрались, а потом и скучно стало, забыли. Сашеньке-то плохо после премьеры стало, на лестнице упал. И на сцене

бледненький был. Но весёлый, так понравился всем. А после как пошёл – так и сполз, и лица на нём нет. Конечно, «скорую» вызвали, ждали... Мама его приехала, так волновалась... да не застала машину, сама в больницу поехала. А вы разве не знали?

- Нет. Откуда, - чувствую, как сжимается горло, - а что за больница?

- Откуда же мне знать, девочка. Увезли. Да он, наверное, уже дома – уж больше месяца прошло, столько в больнице не держат. Ну, Павел тоже хорошо делает. Пальтишко-то сдаете?

Беру номер и поднимаюсь по лестнице, и впервые забыв посмотретья в зеркало. На сцену смотрю вполглаза, не вслушиваюсь. Молодой парень, волосы белые, крашенные.

Почему не познакомил?

Парень хорошо читает, хорошо декламирует. Может быть, слишком много шутит и к публике оборачивается. Заигрывает. Детям нравится.

Это Сашин спектакль?

Или чей?

Детям ведь нельзя было смотреть.

Сашин Есенин пьянствовал и ругался. И себя в зеркало рассматривал, и бормотал страшно – вроде и ничего такого, но не по себе. Чёрный человек, чёрный человек.

Саша придумал так – самому быть Чёрным человеком над кукольным кудрявым Сережей. Оттого страшно, что чёрные перчатки – на самом деле сделанные для того, чтобы белое лицо куклы на заслонить от зрителей случайно, чтобы на фоне чёрных ширм заметно не было. Но теперь-то, когда он задник сделал алый, в разводах – чёрные перчатки чёрные руки.

Страшно.

А он смеялся.

Саша не смеялся бы.

Есенин парня со светлыми волосами лежал в кровати тихонько, спокойно, покладисто. Он не хотел бежать, ему всё хорошо было кругом. И людям нравилось. Вон целый класс привели – как и нас когда-то. Сидит ли там, на креслах, Паша, сидит ли Руслан?

Скоро перестаю смотреть на сцену, отвлекаюсь.

Выхожу из театра. Жду.

Встретила его у служебного входа – растерялся, застыл. Не привык.

Спросил:

- Вам расписаться?

- В какую больницу Сашу увезли?

Снял капюшон – белые волосы с посечёнными концами рассыпались по плечам.

- А ты кто?

- Аня.

- Ага. Значит, это ты Аня. Он спрашивал.

- И что? Я не могла, понимаете. В какую больницу ехать?

- Уже не в больнице, успокойся.

- А где?

- Дома.

- Какой адрес?

Смотрит, потом отворачивается.

- К нему нельзя. Он не ходит. Телефон дам. Я же не знаю.

- Чего вы не знаете?

- Ну кто ты ему. Невеста. Или кто.

- Или кто. Напишите телефон?

Он долго ищет, потом диктует. Переспрашиваю дважды, чтобы в циферке не ошибся. Спешит, прощается.

- А я думал – у тебя длинные волосы, - надевает капюшон снова, поворачивается к бульвару – не ждёт, хотя мне тоже к метро.

- Я тоже думала, что у него больше нет никого! – кричу от смелости, от дурасти, - он говорил, что он один! А тут вы!..

Улыбался. Весь спектакль улыбался.

А Саша не ходит.

Не ходит.

Не ходит.

Не ходит.

Не ходит.

Не.

Повторяю про себя в сотый, в тысячный, миллионный – пока по эскалатору иду, в вагоне еду, по лужам домой бреду. Дома никто не спрашивает.

*

Электричка раскачивается. Чух-чух. Звяк-звяк. Это молния на рюкзаке позвякивает, тихонько. Но Саша слышит.

Электричка идёт долго – со всеми остановками. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Рязань. Три часа сидел, слушал голос, перечисляющий подмосковные города и деревни, пытался читать «Мою жизнь в искусстве» (подарила мама – красиво переплетённую, с цветными глянцевыми фотографиями), но терялся в фамилиях и названиях спектаклей.

- Мороженое, рожок-гигант, эскимо, фисташки, сухарики, чипсы... – торговка в синем фартуке идёт между сидений, ни на кого не глядя, - мороженое, рожок...

Станция Рязань. Конечная. Уважаемые пассажиры...

Саша убирает в рюкзак «Жизнь в искусстве» и выходит в тамбур, пахнувший мочой и дымом – на грязный пол смотрит, на двери, на платформу, несущуюся мимо. Скоро замедлилась и остановилась совсем.

Когда Гоша не ответил на одиннадцатое письмо, Саша стал вспоминать. Мало знал, но нашёл, нашёл по телефонному справочнику. А мамин знакомый пробил адрес – заплатили две тысячи, да ведь глупо просто взять и прийти домой?

Но беспокойство зрело, зрело, казалось, что сам что-то не так сделал, не понял, не узнал. Проходили Хасавюртинское ущелье, снилась Светка, снилась незнакомая женщина, которую ударил муж. А что было дальше?

Кажется, что и без адреса бы нашёл ту Светку – как представил её невысокой, пухленькой слегка. Только школу закончила, в училище на технолога пищевого производства пошла, не в институт.

Он останавливается у подъезда пятиэтажки, ждёт. Долго. Из подъезда выходит молодая женщина с коляской, Саша придержал дверь и вошёл на чистую лестницу, поднялся на четвёртый этаж. Заметил только, что на подоконниках кто-то расставил простенькие цветочные горшки с традесканциями, стёкла протёр, и половички домотканые перед каждой дверью положил.

От этого почему-то защемило в груди, слёзы к горлу подступили.

Он звонит в дверь.

Потом ещё раз.

И ещё.

Открывает простоволосая старуха в цветастом платье, строгая. Саше странно только, что она открыла сразу – не спросила через дверь, цепочку не накинула. Просто встала на пороге, посмотрела.

- Здравствуйте.

И замолчал.

И старуха сказала молодым голосом:

- Вам кого, молодой человек?

- Мне Гошу.

Женщина постояла, повернулась и пошла вглубь квартиры. Остался, думал – сейчас позовёт. Ждал. Долго.

Потом понял.

Вошёл следом, миновал прихожую, сосчитал флакончики кончившихся духов, составленные на трельяж, вдохнул запах застоявшейся пыли, кружевных салфеток, молока, пригоревшего на плите – ведь не эта женщина следит за порядком в подъезде, поливает традесканции, выбивает пыль из половичков.

Идёт за женщиной на кухню. Там неуютно, словно бы не обжили. Стол чёрный, исцарапанный ножом, истончённый, испачканный – сидели за ним долго, к ужину собирали, не вытирали тряпкой, забывали.

И занавесок на окнах нет, стёкла пустые.

Что бы ни случилось – и занавески нужны, и карамельки в бумажных фантиках на тарелке. Так Саша думал.

Он садится на стул. Женщина тоже.

- Вы дружили? – говорит женщина. Смотрит.

- Да.

Дружили?

Говорили?

Рассказать про Светку?

Рассказать про женщину?

- А я мама его, - говорит и плачет. Саша не знает, что дальше. – А тебе чайку сейчас... вскипячу...

- Что вы, не надо... не беспокойтесь...

Она машет рукой, встаёт – тяжело, неловко, будто на костылях – двигается неуклюже, ломко. Берёт эмалированный чайник с ярким цветком – законченный, но новый почти, как будто купили в счастливое время, а потом оно закончилось. Долго ищет спички по кухне, потом берёт коробок – замирает, глядя перед собой.

Что хотела?

Что потеряла?

И видно теперь, что не старуха вовсе, а маме ровесница, но мама, несмотря на усталость, на вздувшиеся вены на ногах, не ходит так, и не смотрит так.

Женщина вспоминает и зажигает спичку.

Оранжевое, потом – светло-синее. Огонь облизывает чёрный бок чайника.

Они ждут теперь вдвоём.

Мама Гоши сыплет в заварочный чайник чай – слишком много и неаккуратно, что чёрная крошка сыплется на стол. Не замечает, словно не замечает – но Саша понимает такую неопрятность, чувствует, старается не замечать беспорядка и запаха.

Не чувствует ничего.

А что у неё в комнате?

Пахнет немытым телом, разохшимся полом, затхлыми духами, нафталиновыми шариками?

- Крепкий налила, покрепче, послаще – клади сахар сам, сколько хочешь... Игоряша четыре ложки клала, а то и пять – ругала, да где там... Отец приучил, сладёна был. Умер. А мне этот сахар – тфу, ничего. А Игоряша не такой...

- Я одну ложечку, спасибо... – и не любил с сахаром, а пришлось – потому что она пододвинула сахарницу ближе, а на сахарнице – фиолетовые цветы, золотые листья – как на чайнике, на чашках. Сервиз купили – или подарил кто к празднику.

Сама пьёт не из праздничной чашки – из дешёвенькой, тоненькой, обычной, будто жалеет для себя хорошего.

- Сейчас я покушать достану... сыр, колбаска варёная.... Супа нет, не варим теперь... а колбаску покупаю. Знаешь, как пожуёшь колбаски – так вроде оно и легче, - встаёт снова, открывает холодильник. Он маленький у неё, старый – не на большую семью.

- Что вы, я не голодный... – и стыдно, что заглянул случайно, а в холодильнике двухсотграммовый кусочек варёной колбасы, плавленый сырок и полкастриули какой-то холодной еды. Не иначе, соседи принесли, пожалели.

Было ли при Гоше так?

Ведь женщина наверняка ему покупала – и колбасу, и чёрный чай, и нарезной хлеб?

- Ему стипендию платили, а потом и зарплату, когда на завод пошёл, вот и покупали. Сервелат был, и всё было. Огурцы покупали, болгарский перец – всё у бабушек, своего-то огорода нет.

- А теперь?

- Теперь ничего. Ты кушай.

Порезала для него колбасу на тонюсенькие кусочки, на блюдечко положила.

Если бы ты сказал мне.

Если бы ты сказал мне, на какую работу.

На какую работу устроиться.

Она бы не сидела напротив.

Не смотрела.

Что в кошельке? Пятитысячная бумажка, которую мама на неделю дала – стипендию-то он сразу ей отдавал, не хотел у себя лишнее хранить.

- А на кладбище не ходи, там его, Игоряши, и вовсе нет. В закрытом гробу хоронили, взглянуть не позволили. Так и не знаю, кто там, внутри. Говорят, что все одинаковые становятся. Кушай колбаску, кушай...

Саша берёт самый маленький кусочек и чувствует, как в глазах становится тепло и страшно.

- Давно?

Женщина не слышит.

А сколько сидела одна, бормотала – над сервизом, над холодильником, ждала, чтобы кто-то пришёл?

- А Светка? – наверное, глупо спрашивать, ведь и не видел её ни разу, не имеет права знать. Но помнил и про перекрученные ляпочки лифчика, про дешёвую цветастую кофточку на маленьких пуговицах.

- Да сходи к ней, спроси. Я не спрашивала. Она на похоронах была.

- Я думал, что она у вас живёт.

- С чего?.. – сжимает губы. Не нравилась Светка. Маленькая слишком или кокетливая – кто знает, Гоша не писал ничего такого.

- Да тут через дом. Как устанешь со мной, старухой, сидеть – зайди. Проведай.

А может быть, надо рассказать – что снилась, оттого и заснуть не мог.

А про женщину, которую в лавке ударил муж – рассказывать?

Рассказывать?

Он встал из-за стола и стал прощаться. Она не удивилась. Скоро, сказала, и квартиру в порядок приведёт, как от сердца отойдёт-отхлынет.

Не отхлынет.

Не отойдёт.

Саша думал.

Пятитысячную купюру он женщине на тумбочку положил, хотя и стыдно.

Светка тоже живёт в пятиэтажке. Мама Гоши объяснила, какой балкон – самый новенький, с чистенькими окнами, незахламлённый, с зелёными рамами.

Так смотрел на рамы и различал медово-жёлтые выстиранные шторы, такие чужие в этом доме, на этой улице.

Как могла Светка занавески стирать?

С балкона старые вещи выкидывать – детские саночки, деревянные лыжи, банки с компотом трехлетней давности?

Чай с сахаром пить?

Он стоит во дворе и смотрит вверх, а на него оглядываются. Знают жильцы дома, знают всех, думают – к кому пришёл, кого выглядывает?

На балкон выходит кто-то – Саша по слабости зрения щурится, стараясь разглядеть. Девушка открывает форточку и стоит недолго, разглядывает дом напротив.

У неё растрёпанные волосы, кажется, светлые. И не видно больше ничего.

Она оставляет форточку открытой и уходит. Весна добрела и до них, хочется воздуха, так невероятно хочется воздуха, что Саша понимает, что нет сил заходить к ней, разговаривать, объяснять.

Кто такой?

Какая ещё женщина?

Саша идёт к вокзалу.

Электричка обратно нестерпимо-медленно идёт, невыносимо.

Не носят мороженое.

Через три недели он подаёт документы в ГИТИС и устраивается буфетчиком на Казанский вокзал.

*

Он не возьмёт трубку. Он не сможет подойти к телефону.

Он не ходит.

Говорил, что живёт с мамой – с Лидией Васильевной, старой учительницей, сухой, строгой. Она до его восемнадцати лет спала в его комнате – боялась, что станет кричать во сне, а не услышит через стенку. Отец Саши ушёл давно.

Спрашивала, как это – без отца: хорошо ли, тяжело? Но Саша не помнил – говорил только, что одноклассники отцов боялись, а ему некого было. Мать никогда не боялся, даже в раннем детстве. Не била, не кричала, не запирала в кладовке.

В какой ещё кладовке – я смеялась.

В обыкновенной кладовке, где банки с вареньем и консервированным компотом. А у вас разве не было?

У нас холодильник.

В холодильник-то всё не влезет.

А почему ушёл отец? Встречались ли потом? У нас в классе одну девочку забирали на выходные – в понедельник с диатезными пятнами на руках приходила, потому что отец конфетами от вины закармливал.

Саша отвечал, что радовался бы и конфетам, и выходным, и всему от отца – но едва пытался узнать, как мать начинала плакать. Вещи, открытки в роддом, записки, конверты – были, но где найдёшь. И выкинуть могла, и на дачу отвезти. Но поскольку не находил, то сомневаться начинал: а был ли отец, а вправду ли от него осталось в комнате чёрное пианино «Zimmerman» с медными подсвечниками, в которые не вставлялись хозяйственные белые парафиновые свечи. Мать говорила – не для нас сделано, для других. И вечно спрашивала у знакомых – как бы продать, никто не играл, настройщика не звали.

Саша открывал крышку, нажимал на клавиши от безделья и любопытства. Мама говорила – не балуйся, испортишь, не купят потом. Пианино не покупали десять лет, но играть нельзя всё равно. Разве что днём, тихо-тихо – когда и мама, и соседи на работе.

Саша говорил, что из-за этого до сих пор интонирует недостаточно чисто.

Не знаю.

Я не слышу.

Кажется, когда он учил меня петь, всё было хорошо.

Ты помнишь ли вечер, как море шумело,

в шиповнике пел соловей?

Пушистые ветви акации белой

качались на шляпе твоей?

Меж камней, обросших густым виноградом,

дорога была так узка...

В молчанье над морем мы ехали рядом,

с рукой сходилась рука...

Акомпанировал громко, потому что предупредили охранницу – мол, буду заниматься, всё в порядке. Интересно, что она думала, когда слышала и мой голос – потому что я сперва подпевала, тихо-тихо, а потом он оставлял одну?

- Алло. Здравствуйте.

- А это кто? – голос женский, взрослый, осипший, точно заплаканный.

- Это Аня.

- Какая Аня?

- Мне Сашу.

- Какая Аня? – повторяет, злится. Вспоминаю, что Лидией Васильевной зовут, и что раньше была учительницей. Какой предмет? Русский или математика? Русский или математика?

- Я Аня, ученица Александра Сергеевича. Сказали в театре, что он заболел.

- Вот как, ученица. Что-то не припомню вас. Давно звонили в театр?

- Я приходила. Я не могла.

- Александр Сергеевич болеет третий месяц.

И в трубке гудки.

Я вас не помню.

Не говорил, не предупреждал.

Никого.

Про мать говорил – близкие, тесные отношения, не тёплые, но странные, и всё-то она знала: и с кем целовался в первый раз, и почему с классом на экскурсию не поехал, и какие цветы подарила женщина с третьего ряда. И про меня должен был.

Снова набираю номер. Гудки долгие, долгие. Но отвечает он.

- Да? – и будто дышит тяжело.

- Здравствуйте, Александр Сергеевич.

- Анечка?

Говорить? Говорить? Чувствую себя виноватой страшно, непоправимо. Молчу.

- Анечка, не сразу услышал, простите.

- Да. Ничего.

- Анечка, пойдёмте гулять?

- Пойдёмте.

А куда идти?

- Вы видели «Есенина», Аня? Вам понравилось?

Я молчу. Я хочу гулять.

Про Есенина ничего не буду не говорить. Не буду.

- Понятно. Аня, он ещё учится. Он очень одарённый. Он будет лучше меня, он уже лучше.

- Это неправда! – срываюсь, кричу. Не хочу, чтобы слышали родители. Стараюсь тише, - он у тебя отнял роль, отнял спектакль! Это ты придумал – и стены красные, и верёвку, и рубаху...

- Вы поймёте, Аня. Поговорим. Приедете?

- Куда?

Он говорит адрес. Извиняется, что не может приехать сам. Записываю синей шариковой ручкой на ладони. Потом в блокнот перепису, аккуратным почерком, ровным. Слышу в трубки возгласы, шорохи. Отвлекается.

- Извини. Мам, перестань, - слышно хуже – наверное, закрывает ладонью трубку, - дай мне договорить, пожалуйста. Мам.

- Во сколько? – говорю, а он не слышит.

Я слушаю, как они ругаются, как она говорит ему лечь, не вскакивать с постели ради какой-то школьницы и не стовариваться на завтра, так как погода промозглая, и потом они вдвоём могут в парк сходить. Возражал тихо, отмалчивался больше, стыдился. Потом трубку повесил.

*

Саша открывает форточку настежь, отодвигает тюль – чтобы проветрилось свободнее, лучше. На кухне пахнет кисло и неприятно – мокрой тряпкой, луком, водкой.

Давно так было.

Давно.

- Мама, что случилось?

Она сидит – в юбке и в лифчике одном, и складки на животе жалко наплыли на тугой пояс. Лифчик бежевый, застиранный, с широкими лямками.

- Мама...

Она не плакала, но размазала по лицу карандаш для глаз, румяна, помаду, ещё какие-то женские краски – в последнее время покупать стала много, и полочку в ванной заставила карандашиками, щёточками, баночками. Выходила вечером из ванной опавшая, умытая, с бледным, точно бы не своим, лицом, намазанным жирным кремом – и быстрым шагом шла к себе, на кухню, чтобы Саша не увидел. Он видел.

Это от неё водкой пахнет.

Саша снимает с плиты кастрюлю с пригоревшей гречневой кашей.

- Хотела тебе... сделать. Думала – голодным вернёшься... а тут кашка... хотя ты же гречневую не ел... никогда... – мама приподнимается на табуретке, хватается за край стола – падают тарелки, кусочки чёрного хлеба на пол.

- Я уже поел. Мне тётя Галя всегда суп с обеда оставляет, даже греет в пересменок.

- И что же тебя чужая женщина так холит? Втюрилась?

- Да ей лет тридцать пять, - медленно говорит Саша. И знает, что не о том. Какой суп, какой буфет, какая тётя Галя?

(Хотя она и вправду оставляла первое, второе и хлеб – вечером в буфете супа не бывает, а у него только вечерние смены. Вот она и сказала один раз, тётя Галя – желудок на сухомятке угробишь, на шоколадках. Вот, тарелку держи. Он застеснялся, но взял. Потом всегда оставляла, даже если не виделась – накрывала полотенцами, не остывало. Долго думал – не нужно ли как-то отблагодарить? Цветок принести, в кино позвать? Но когда представил, что пойдёт в кино с этой доброй, но полноватой женщиной с растянутой чёрной резинкой в волосах – решил отложить, решил как-то по-другому, решил...).

Ничего не решил. Оставил. Только улыбался виновато и глупо – но она-то наверняка не понимала, только жалко и неестественно кокетничала – видно, видела в фильмах, как

женщины смотрят, повторяла. Но у женщин из фильмов не было крашенных чёрных волос с отросшим серым корнем, пухлых пальцев, похожих на мамини, только тётя Галя колец не носит. А мамы снимала перед работой, потому что всё равно не соврёшь приятельницам, что подарил кто-то, а начальство ругается. Волосы в хвостик, руки – чистые, с короткими ногтями. Понятно, без колец. Прягала. Так и прозвенела поддельным золотом в кармане блузки.

Раз выронила и собирала на полу, а иностранцы смотрели жалостливо, но не помогали. Не с тех пор ли опасалась, и пить начала дешёвое и втихомолку?

- Собрали после работы, - рассказывает мама. Он садится на табуретку рядом, потом снова поднимается – приносит из ванной мамин халат. Она торопливо и неловко просовывает руки в рукава, - мы-то давно ожидали, но не думал, что сразу... так. Опомниться не успели. Собрали, значит – и официанток, и мойщик, и уборщиц. Сказали – мол, всё понимаем, но официантки после сорока пяти нам не нужны. А мойщицы, если которые есть, пускай остаются – их гости не видят. А после сорока пяти – и я, и Стёпа, и Даша-жируха... Наталья вон тоже. Все как на подбор – после сорока пяти. Даше пятьдесят вообще. Мы-то сразу поняли, про кого говорят.

Саша встаёт и закрывает форточку, выбрасывает пригоревшую гречку в мусорное ведро.

- А что ж ты кушать будешь?.. – мама, не вставая, хочет открыть дверцу холодильнику, словно забывая, что было до, что на кухне холодно и почти не пахнет подгоревшей едой, что сама только что сидела так, как ни разу за двадцать лет сыну не показывалась.

- Я не голодный... – Саше кажется, что долго можно повторять и ждать, пока разговор к правильному выйдет, к настоящему, - а разве тебе уже сорок пять?

Мама наконец открывает холодильник. Саша смотрит – там непривычно мало всего, только консервы и половинка луковицы.

- Не принесла. А могла бы. Назло – не принесла, не захотела к столикам их вонючим подходить... Сидят, обжираются. Раньше хоть только немцы – а теперь и русские пошли, мерзкие совсем. Немцы не смотрели на нас, а эти смотрят. Только не в глаза. А на молоденьких девочек – на грудь, на попу... На меня-то давно никто не позарится. Это всё из-за этого. Что никто. А начальству надо – чтобы привлекательные, чтобы товарный вид... как будто бы просто продукты, как сыр или колбаса. Да сама несколько раз помогала девчонкам на кухне нарезку по тарелкам раскладывать – если сыр немного подсох, срезаешь корочку, и всё. И колбасу можно маслом подсолнечным слегка протереть, чтобы блестела. При иностранцах так делали. Сейчас, при русских, не решаются.

Потому

- Всё не так. Просто у тебя ноги устали. Ты сама говорила – отекают.

- Да что – ноги... Всё отекает, всё не такое, всё слабое, отвисшее. Вот и посмотрели. Ну хочешь, я до магазина схожу?

- Спать ложись. Постелить?

Качает головой.

- Не хочу спать. Включи телевизор, если не хочешь разговаривать.

У Саши сегодня было пять пар, а потом работа. С поездов приходят люди – тащатся с чемоданами, пахнут вагонной затхлостью, просят портвейн, водку. Женщины ничего не просят – просто стоят возле столиков, как будто больше некуда пойти. Самым страшным

оказалось подходить к таким и просить уйти – мол, столики здесь для тех, кто заказывает поесть. Но подошёл один раз только, посмотрел женщине в глаза – и вернулся за прилавок.

Может быть, Галя и гоняла днём, когда народу много.

Саша не спрашивал.

Может быть, Гале это легче.

Но тогда Саша ловил себя на мысли, что словно сваливает на женщину грязную работу, а сам остаётся хорошим, чистеньким. Тогда он садится на маленький комнатный стульчик у буфетной подсобки и думает.

Потом встаёт, отпускает пирожки с рисом и яйцом, слойки с вареньем, бутерброды с варёной колбасой, сухарики, наливает компот и вино.

- Я хочу разговаривать. Но завтра к первой паре.

- Включи телевизор, - говорит мама, - включи.

Он включает телевизор и ждёт. Ничего такого ведь. Ничего.

- Совсем на своих парах помешался, - мама вытирает рот тыльной стороной ладони, - что вы там делаете вообще? Я тебе говорила – не бросай, учителем станешь, всё же кусок хлеба...

- А потом мне стукнет сорок пять, и я буду плакать ночью, и помаду размазывать, и меня уволят с работы, как и всех, кому исполнилось сорок пять, - говорит Саша.

- Что говоришь – кто учителей увольняет, дурень. Надо было и мне оставаться, не гоношиться. Ну задерживали зарплату – ничего, перебивались бы как-нибудь. Я бы с него алименты вытрясла, вытрясла... Что смотришь?

Саша раньше любил играть со всякими интересными вещами из папиного ящика – там был и стартовый пистолет, и конверты с красивыми марками, серый пустой кляссер, патроны, мелкая чёрная дробь, комсомольский значок. Доставал и раскладывал на серванте, играл сам с собой, разглядывал, взвешивал в ладонях. А однажды увидел, заглянул в ящик, сложенные вдвое кухонные полотенца, чистые прихватки и ту самую скатерть-клеенку, которую несколько раз в год стелили на стол. Больше ничего папиного у него не было, только память о том, как произнёс пионерскую клятву и поднял глаза, и никого в толпе не увидел.

Ведь мог не разглядеть.

Утешал себя.

Близорукость не вчера появилась.

Не вчера.

Может быть, папа, даже поссорившись с мамой, пришёл. И стоял там, у исторического музея, и всё-всё видел и слышал – особенно когда мама странно громко, словно бы напоказ перед всеми, сказала, что они сейчас купят мороженое и все вместе пойдут в планетарий.

Саша и до сих пор не представляет, как бы они пошли в планетарий с мамой вдвоём.

Потом Саша вспоминает, что мама зачем-то хотела, чтобы он включил телевизор, но звук они прибавить забыли. Он подходит к телевизору, крутит ручку громкости. Что-то не так по телевизору. Что-то изменилось.

Два подъезда дома номер девятнадцать полностью уничтожены, говорят.

Соседний дом номер семнадцать деформирован взрывной волной, говорят.

Под завалами обнаружены, говорят.

А что ты делал?

Что ты делал?

- Не говорили в институте. Ничего. Никто не сказал, - медленно говорит Саша, - хотя многие смотрели странно. Да, теперь припоминаю. Разговаривали. Но, знаешь, я так торопился на работу, так спешил...

Что ты делал?

Что?

Вспомни, как на вокзале люди смотрела друг на друга.

На бородатых мужчин.

На безбородых мужчин.

На женщинах в платках.

Это поэтому?

Это поэтому?

Я ведь не виноват, хочет он сказать.

Не говорит.

- Саш, ты чего? – мама наклоняется над ним, - Саш, да там разве знакомые жили? Никто у нас из родственников на Гурьянова не жил, не выдумывай. Не плачь.

*

Гуляли вокруг дома, медленно. Ногу подволакивал, виновато улыбался. Из больницы.

- Лежал бы ещё, - говорю, - никто не гнал.

Стаял двор, взялся лужицами и прошлогодней бурой травой. От травы пахнет сырým и затхлым, и не изменится, пока солнце не высветит, не вычистит. Март прошёл, но много впереди.

- Скучно. Лежишь, в окно смотришь – всё веселье. И читать нельзя.

- Почему?..

- Доктор сказал. Из-за напряжения. Или ещё из-за чего. И маме сказали – не приносите. А то, что принесли – заберите. Теперь никогда не прочитаю «Отверженных».

- Дома можешь.

- Дома не до того... – улыбается. День посидит, а завтра в театр понесётся. Знаю.

В больнице постригли коротко, и теперь затылок топорщится, отрастает. В дневном свете разглядела, что в каштановых волосах серебра много.

- Мама боялась – говорить стану плохо. Заикаясь, запинаясь, нуууу ввот т-т-так, - смеётся, изображает. Лужа блестит лучом, потом захлёбывается.

Я-то тогда осталась сидеть с трубкой у уха, растерянная.

Ехать или не ехать?

Адрес записала, но ведь не договорили. Вдруг он из-за мамы решил, что не нужно со мной встречаться? И когда приезжать – утром? А вдруг он не встанет? Не выйдет? Подъезд сказал, а квартиру – нет. Поехать в театр, найти белобрысого Павла, просить – ну скажи номер квартиры, скажи, ты же знаешь. А я по дуруости не спросила.

Звонить ещё раз не стану. Не стану. Потому что его мама подумает, что я дурочка какая – или бесчувственная: и что он болеет, не знала, и в театре не была.

И позвонила, как будто имела права звонить. Он из меня переживал.

И с постели встал рано, необдуманно.

Ради меня.

Потом что я звонила, надоедала.

Потому что я не звонила, не знала.

Я так виновата.

И когда моя мама пришла, на полу сидела. Ты чего, она спросила. Я не знаю. Я бы тебе рассказала, если только можно. Можно. Я тетрадки в школе проверила.

И тогда рассказала. После косы считалось в доме, что всё по-старому. Что могу ходить на спектакли, могу бывать в мастерской, и деньги карманные дают. Но мама. Мне ехать. Или. Не ехать.

Что думаешь.

Пальто весеннее надень, говорит. Полегче. Если ходить долго станете – не замерзнешь, и красивое оно, женственное такое.

Ждала у подъезда, долго.

Долго. Он время перепутал. Или сама время перепутала. Но вышел, улыбнулся виновато. Его дом девятиэтажный, старый. Жили долго, на работу ездили, открывали двери, опаздывали, подметали лестницы, хранили на балконах деревянные лыжи и банки компота, приводили девушек, фотографировались под цветастыми коврами, выкидывали мусор, вытирали разлитый кофе тряпками, выносили на свалку за домом сломанные пишущие машинки. Оставляли. Машинки не забирала.

Машинки не забирала. Куда мы идём?

Я думала – в парк, а пришлось к дому ехать, к подъезду подходить. И с лестницы под руку мама свела и смотрела зло. Недолго, сказала. Устанет.

Саша не смутился, улыбнулся.

- Да я в больнице на месяц вперёд отдохнул.

И только тогда я заметила, что – нога.

Вялая, беспомощная, чужая, лишняя нога. Он с палочкой – стёртый пластиковый набалдашник, исцарапанный. На прокат в больнице взяли.

- Очень просился на выписку, - морщится, хмурится, передразнивает врача, - а он – лежите, лежите, рано. Куда рано, когда от скуки себя девать некуда. Ещё перед днём рождения. Глупо. Да. Что в школе?

- Ничего.

- Плохо?

Я киваю. Мы останавливаемся возле лавочки, крашенной в синий, и долго не хотим садиться.

- Я постриглась, заметил? – не выдержала. Думала – сразу удивится, руками всплеснет – Анечка, где коса?

- Да-да, - он не смотрит, - красиво.

Красиво.

- Павел сказал, что ты не ходишь.

- Потому что он в больницу приезжал, сразу после... Я и вправду лежал. Теперь выхожу потихоньку. Испугалась? Это не в ногу дело, нога в порядке, не бойся. Это здесь, - он приложил ладонь к виску.

- Здесь? Болит?

- Не болит. Так, что-то оборвалось.

- Почему Павел решил, что мне нельзя приходить?

- Ань, ну подумай – к больному, лежачему... Разве девочке приятно такое видеть.

Всё-таки садимся, подставляем губы солнцу. Весна яркая обещается-начинается, прозрачная. Скоро-скоро набухшие почки выпустят листики, и вернёмся в мастерскую, где пахнет кукольными платьями и горячим утюгом.

- А почему – нога?.. Если висок, – решила. Не хотела вначале обращать внимания, мне-то неважно. Нога и нога.

- Правая. С правой стороны тело теперь не очень. Не чувствую. Говорят – insult.

- И что теперь будет?

- Ничего. На физиотерапию похожу, вернусь в театр. Павла, говоришь, видела. И как?

Стыдно врать, да и вижу – там, далеко, к подъезду вышла его мама. Непроста вышла – обещали недолго, и застряли, засиделись, заговорились. Ищет глазами, потом и вовсе оглядывается. Машу рукой – она старенькая уже, глазами слабая, в толстых очках ходит. А мы вроде и недалеко отошли, а неприметны ей.

- Ань, там мама? погоди. Расскажи, как спектакль. Тебе понравилось?

- Да, Павел очень хорош. Очень, - в глаза не смотрю. Стыдно, что радуется, - а откуда он взялся, Павел? И почему он в твоих спектаклях играет?

Киваю его маме – скоро мы, скоро. Не холодно. Он же в тёплой куртке. В шапке.

- Пришёл. Приходил на все спектакли – а уже не ребёнок: подросток или юноша, не разобрал. Потом подошёл, сказал – научите так танцевать. Ну, танцам не танцам, а ходили по сцене, изучали, стихи быстро запоминал, пел. Ученик? Да, похоже.

- А мы не виделись.

- Ты мало побыла. Я не о том, - быстро взглянул, - не в обиду. Он утром приходит, на целый день. Он-то школу закончил. И институт какой-то, кажется – не говорит, какой. А тебе учиться нужно, нельзя целыми днями куклами заниматься. Это все понимают.

И тогда я встаю с синенькой недавно лавочки, с тёплого дерева, на глазах его матери, которая смотрит-смотрит, и никак не хочет взгляд отвести, а Саша не видит, не замечает, ни чёрта не замечает, потому что смотрит только на больную тяжелую ногу, которая не хочет ходить, шевелиться, чувствовать – и я говорю:

- Да я-то хотела целый день куклами заниматься.

Я говорю:

- Только мне косу отрезали, потому что из школы не ушла. И не уйду, потому что я же там на крыльце коленку разбила в первом классе, и колготки белые кровью запачкала, и пришлось так ходить целый день, и смеялись все. Я же там порвала случайно библиотечную книжку, хорошую книжку – рассказы Бунина. Мы же там, за крыльцом на перемене, с Алиной курить учились. А почему нужно уходить? А потому, что я Кармен, блядскую Кармен защищала. Молчала бы лучше. Молчала.

Я говорю:

- Я стала петь учиться, как ты говорил. Жду, пока родители на работу уйдут, вешаю ковер на дверь, чтобы соседи не ругались. Мяукаю, мычу, как целый зоопарк. Потом пою – твои песни из всех спектаклей подряд, стараюсь петь сердцем, улыбаться. Поэтому на уроках меня нет. А Анна Владимировна спрашивает – ты что, хочешь с двойками закончить? Я хочу с двойками.

Я говорю:

- А потом папа решил, что скоро внуком обзаведётся, в тридцать восемь лет-то. Деньги выдавали под счёт, только на столовку и проезд. Но не в том дело. Я бы приехала. Но папе сказала, что больше не буду ездить. Обещать не обещала, но сказала. Он Таньку искал и её дружков – и мне кажется, что нашёл, потому что до вечера не возвращался. И билет в театр привёз – думал, что ты там, думал – порадовать. А там Павел. Он хорошо читал, не забыл, ни словечка не спутал. Только знаешь, что я тебе скажу? Он даже лучше тебя читает. И детям больше нравится – он к ним оборачивался, всем в глаза сразу смотрел, хотя теперь-то знаю, как прожектор глаза слепит. Только он и в подмётки тебе не годится, потому что за него никто воевать не пойдёт, никто не станет терпеть, как дразнят, с ног сшибают, косу отрезают. А ты как думал? Ты кем был в школе? Любимцем? Не отличником, но так – крепким хорошистом? Улыбчивым? Ребята дружили? Да, мама рассказывала, как при советской власти все дружили, пионерами были, старушек через улицу переводили. А ты такой старый – ты точно пионером был. Точно.

Я говорю:

- А что ты сказал моему папе, когда позвонил? Что у девочек-подростков это бывает? Хочешь, я буду сдавать экзамены. Я могу хорошо сдать. Я умненькая была, когда-то была умненькая.

Я говорю.

Его мама нашла нас взглядом, отвернулась – точно случайно вышла из подъезда, и пальто наскоро на халат накинула. Скоро, скоро. Скоро выйдете в блузке и юбке одной, в туфельках на низком каблуке, и будет разве что самую чуточку прохладно, но безветренно.

Я неправду говорю, потому что Саша не может встать со скамейки, если я руку не протяну. Я протягиваю.

- Прости.

Говорю.

- От кого защищала? – встаёт, тяжело облокотившись на здоровое колено. Пополнел, и лицо округлилось, темноватые мешки под глаза легли.

Ничего?

Ничего не произошло?

Это раньше было, на спектакле (на каком?) – а теперь исчезло, осталась только чужая больная нога, неуклюжая.

Выспаться.

Теперь только выспаться.

Его мама повернула голову. Нужно помочь ему подняться. Я помогаю. Подаю палочку.

- От кого защищала? – мы идём вдвоём по мокрому асфальту, справа: деревце без листьев, перевязанное тряпочкой (ранено? увидели дворники, замазали и завязали?).

Его мама ждёт, уже дверь подъезда открыла.

Пока молчали – пришли. Требуют имен – кто, кто, кто? Кто ждал у гаражей? Кто пнул в живот? Кто предлагал деньги Анне Владимировне? Кто?

- Нагулялись, - говорит его мама, - Сашенька, руку давай...

- Дойду, - Саша проходит в дверь, не обернувшись. Тяжело. Кажется, что хромает сильнее, но неправда, неправда, неправда.

У его мамы серые круги под глазами, неаккуратные седые брови, разлапистые, низкие. И ходит она ещё медленнее, чем Саша с его ногой – и как живут, как друг за другом смотрят?

Я придержала им дверь и случайно взглянула на её ноги. Сашины-то уже видела – тут ведь сразу видно, что дело не в ногах. У него ноги для танцев, для прыжков.

А у неё по случаю весны нет ни колготок, ни чулок, и ноги все в страшных красно-чёрных пятнах тромбофлебита.

*

Мама вначале искала работу, потом перестала. Да и ходила по объявлениям словно бы нехотя, через силу. Говорила – я пенсию свою выработала, пусть платят. Хотя несколько лет оставалось, но мама не знала, что ей делать с этим временем.

Я же пока работаю, говорил Саша. Ночные смены никто не отнимет. А если всё хорошо будет – стану старшим буфетчиком, буду и в столовой там за всем присматривать, и в баре.

Такой должности - старший буфетчик – на Казанском вокзале нет, но Саша рассчитывает, что маме неоткуда об этом знать. И вправду – она успокаивается, кивает.

А Саша не знает.

В буфете выходит двадцать тысяч в месяц. Всё про всё, за все смены.

А у мамы поизносилась дублёнка и лопнули сапоги – сразу, точно дожидались, пока уволят с приличной и чистой работы.

Для занятий пластикой в институте велели купить чёрные джазовки и лосины в специальном магазине. Саша посмотрел – джазовки пятьсот рублей стоят, а лосины – восемьсот. И разве так уж обязательно приходиться во всём этом танцевальном барахле, если он не собирается становиться балеруном, вообще никем таким не собирается?

Хотя танцевать понравилось, даже и в носках и обыкновенных мягких брюках.

Но надо особенно выглядеть, специально.

Ты учишься в лучшем театральном вузе страны.

Ты учишься.

Ты должен.

А один раз мама вспомнила – помнишь, ты русский язык в школе любил? Помнишь?

Он помнил. Все диктанты, сочинения на пятёрки. Но только это не из-за того, что русский язык любил. Не любил, но по-другому не получалось.

Но мама не зря сказала.

В тот же вечер Саша нашёл объявление в газете – требуется репетитор, можно студент.

Позвонил – обещали пятьсот рублей за занятие платить. Третий класс, Аня. Невнимательная, рассеянная. Надо уроки по всем предметам вместе делать, тренировать почерк, усидчивость. Рисовать любит, на пианино играть. В музыкалке хвалят. А вот в общеобразовательной – как не заладилось с самого начала, так и тянется.

Мама сама учительница, но на работе целый день. На ней и продлёнка.

Соврал по телефону, что учится в педагогическом до сих пор.

Соврал.

Договорились встретиться.

- Ты куда? – мама стоит в прихожей в халате. Глаза тусклые. Снова. Снова.

- Я подработку нашёл.

- Подработку. На три копейки. Мать бросаешь.

- Мам, почему – на три копейки? Хорошая работа – репетитором. Ты сама говорила, что у меня с русским в школе хорошо было.

- Хорошо? Пошли в комнату. Я тебе сказать что-то должна.

- Мам, давай не сейчас? У меня занятие скоро, не хочу в первый же день опаздывать. Пожалуйста, - Саша берёт куртку с вешалки. Раньше бы остался. Что-то должна сказать. Наверное, важное. Выслушал бы.

- Тебе твои посиделки всегда были важнее. Всегда. С актрисами. С актрисульками, которые только задницами вертят...

- Мама, о чём ты говоришь?

- С детства ходил точно пришибленный. С детства. Помнишь, как ты кроить любил, на кукол шить – точно не мальчишка. А хоть что-то в тебе мальчишечьего есть? А?

Он уже не переспрашивает, смотрит на часы.

Он опаздывает.

Если выйти через пять минут – можно уже не выходить. Молодой репетитор опаздывает на первое занятие. Ха. Стыдно.

- У тебя девушка была? Сколько тебе сейчас, ну?

- Нет. Не было.

Мама недоверчиво пожимает плечами – ну, значит, актрисульки ещё не до такой степени распустились, чтобы на любые мужские штаны вскакивать.

Саша знает, как она может сказать.

Он вешает куртку обратно.

Она, кажется, этого не замечает.

- Тебе двадцать три года. Должен уже мужиком становиться. Нормальным.

- А что в буфете по восемь часов на ногах стою – и вечером, и ночью – это не мужик, значит?

- Да какой там мужик. Буфет. Бабская работа. Помню, и я работала. Только не на грязном вокзале, а в хорошем, чистом месте, в гостинице. Там и люди приличные сидели, иностранцы, не рвань какая-нибудь. А ты кому там чай наливаешь? Шушере из какого-нибудь Воронежа. Скажешь – нет? Не надо было тебя к этому делу приучать. Не надо было звать.

- Мам, я нашёл новую работу. Но я сейчас на неё опоздал. Но это ничего, можно другую ученицу найти. Ничего страшного.

И самому плохо после ночных смен в последнее время. В висках стучит. И под ребрами иногда сжимает – резко, неприятно. Но это усталость, она пройдёт, когда ученики появятся. Будет объяснять им правила. Жи-ши, всякое такое. Будет хорошо.

- Какую работу? Детишек русскому языку учить? Да чему ты научишь. Ты. Все захотят взрослого учителя, мужчину. А ты кто?

Он перестал слушать. Может, им позвонить? Родителям девочки Ани из третьего класса. Сказать – давайте на другой день договоримся, а сегодня обстоятельства, никак... Простите, что так получилось.

Позвонить.

Он идёт мимо матери к телефону.

Алло, здравствуйте.

А, вы и сами хотели отменить? А что случилось? Заболела? Хорошо, позвоните мне обязательно. Когда выздоровеет. Всего доброго.

Он кладёт трубку на рычаг.

Девочка Аня заболела.

Ему почему-то ужасно грустно от этого, но он не может понять, почему.

Будто ехали с кем-то над самым синим морем, а потом оглянулся – и нет никого, потому что этот кто-то заболел менингитом и никогда больше не пришёл на подоконник первого этажа гостиницы «Спутник».

Да что говорить – Саша и сам давно того подоконника не видел.

- Вот видишь, никто не захочет, - повторяет мама. Она слышала.

Саша смотрит на неё.

Смотрит.

- Завтра пойдём с тобой в поликлинику.

- Зачем это? К кому?

- Я не знаю, к кому, - Саша смотрит, – я забыл спросить. Куда ты потом прячешь бутылки?

- За мусорное ведро. Ты туда и не заглядываешь никогда.

Саша кивает и идёт на балкон. Мама остаётся в прихожей – что-то делать будет: пыль протрёт или грязь начнёт отмывать с ботинок. Делами займётся.

А они будут сильными завтра, такими сильными, что пойдут к первому попавшему врачу, сядут на кушетку – вернее, это мама сядет, а Саша будет говорить – сделайте что-нибудь, а я не виноват, я просто много лет не смотрел.

А врач скажет – ну что, в наркологию надо. Полежит, лекарства прокапаем. Успокоится.

Тогда мама закричит и заплачет, и скажет – не отдавай меня, Сашенька, что я тебе сделала. Не отдавай.

И он возьмёт её за руку и уведёт из поликлиники.

С тех всякий раз на занятиях в институте будет сидеть и бояться – неужели снова? Снова приходиться, бутылки за мусорным ведром искать?

Но потом она стала убирать в другое место, и Саша его не нашёл.

*

Возвращаюсь домой тихая. Мама ждёт на кухне – знает, что захочу разговаривать, долго разговаривать. Она отпустила, приняла. Думаю, что приняла бы сейчас и то, что у нас с Сашей когда-нибудь будут дети.

А сказать ему – засмеётся.

Есть дети, скажет. Целый зрительный зал.

- Придумала подарок?

- Нечего дарить, – говорю. И почему раньше не сказал – подготовилась бы, купила, сделала, смастерила. И вышивать умею, и рисовать, и выжигать на ровных янтарных досочках папа учил – это они умели, а мы разучились, потеряли спицы и крючки, спутали пряжу, отнесли к помойке пишущую машинку, а её три дня не забирали.

- Не знаю, что дарить, - повторяю.

Мама думает, размешивает чай, а потом говорит, что всегда можно пирог испечь, если не знаешь, что. Сейчас тебе тетрадку с рецептами найду.

В тетрадке маминой, которую она ещё до замужества завела, вырезки газетные с рецептами и листочки, аккуратным почерком исписанные – обо всем: какие вещи на какой температуре гладить можно, как протирать лакированную мебель.

Нашатырным спиртом или водой?

Нашатырным спиртом или водой?

А у нас нет сливочного масла.

И сахарной пудры нет.

И апельсиновой цедры.

И кондитерской посыпки.

И молока.

Ничего нет.

- Выйди до магазина, купи. Деньги в шкатулке возьмёшь, сколько надо. Если по рецепту будешь делать, то пачку масла купи, она вся и уйдёт.

Смотрю на маму – и непонятно разве, что стыдно нести пирог, дешёвую вещь, ненужную никому? Что только она бы обрадовалась, приготовь я что-то, потому что только родители будут умиляться самоделкам, ерунде.

А Саше нужно важное что-то, хорошее.

Не покупное, понятное.

А что могу?

Могла бы куклу сделать. Могла.

Но сколько ни помогала ему в мастерской – никогда до конца не доводила ни волос, ни глаз, ни костюма; Саша наклонялся над столом, ставил свет лучше, удачнее, ярче, исправлял за меня, переделывала. А потом хвалил.

Договорились ли мы, что встретимся?

Что я приду?

Наверняка.

Он теперь знает, что самому нужно брать трубку – пусть поставит телефон ближе, чтобы первому услышать. Мать его и не возьмёт – но ведь ясно, отчего. Не по злости, не из зависти. И у неё что-то не так, только я не понимаю, что.

Я не надеваю пальто – магазин близко; только кофту застегнула и капюшон накинула. Хотя и красивая утром была, прибранная – но растеряла в метро, и потом. А он-то утром глядел, улыбался. Сейчас вряд ли бы.

Что по рецепту?

Смотрю на витрины, вспоминаю.

(Бумажку забыла как назло – мама засмеёт, скажет: зачем ходила-то? Поэтому важно вспомнить до мелочи, в памяти перебрать).

Молоко.

Мука дома всегда есть.

Про яйца не помню.

Ещё нужно яркое, для украшения и вкуса.

Я беру кондитерскую посыпку, похожую на разноцветный бисер и апельсиновую цедру.

Дома не смотрю на маму, чтобы не вспомнила про рецепт – тихонечко прошла на кухню, спрятала в книжке листок. С недавних пор мама поставила на кухонный подоконник мой старый магнитофон, на котором когда-то слушала кассеты – а теперь-то ни кассет, ни

желания. Зато теперь магнитофон работает как радио и целыми днями передаёт красивую музыку из какого-то концертного зала. Маме нравится.

А некоторые произведения узнаю, потому что Саша наигрывал, мурлыкал, пел. Говорил – должна всё знать, всё.

Я звоню Алине.

Дверь закрыта. Никто-никто.

- Привет, - у неё тяжёлый, сонный голос, хотя никогда мы так рано не ложились, - ты чего?

- Просто, - удивляюсь, - говорить. Что, не можешь?

- Да нет, - напряжённо, - просто они ушли.

- И хорошо, - не понимаю, - куда, гулять?

- Какое гулять, они и не гуляли никогда в жизни. Только когда он ей лапшу на уши вешал – ухаживал. Гулять... Нет, - тут понимаю, что голос не тяжёлый и не сонный, а грудной, заплаканный. Хотя Алина никогда не плакала и в школу приходила спокойная, даже когда отчим сильно кричал на маму. Думаю, что Анна Владимировна и не знала, что у Алины отчим – только если в личное дело заглядывала. Но она не заглядывала.

- А куда тогда?

- Она убежала.

Мне страшно. Я слышу, как играет весёлая музыка из телевизора в комнате родителей. Они не смотрят, фоном под свои занятия включили – папа что-нибудь читает, а мама отдыхает, прикрыв глаза. Им нельзя мешать. Раз вошла, попросила громкость убавить – и показалось, что до странного не вовремя, как будто это не мои родители, и дом не мой.

- Алин, не понимаю. Как это – убежала? Твоя мама?

Мама Алины – высокая, полная женщина, с длинными обесцвеченными волосами, сильно испорченными на концах, пушащимися – сорок лет красила, не смогла отвыкнуть, и не сможет.

И моя мама до сих пор химию делает, хотя и немодно, и глупо.

Привыкли.

К молодости привыкли, к отражению в зеркале.

А без химии – как на себя взглянешь? Пожухла, изменилась.

- Она вылила водку в раковину. Они сидели, а она взяла и вылила. Тогда он встал и погнался.

- Не тронул?

- Хотел. Дружок за руки хватать стал. Я вначале не слышала, я в комнате сидела, подальше. Мама-то не может, она вроде и хозяйкой хотела себя чувствовать, вечно сидит с этими, болтает. Не переодевается даже с работы. А тут он принёс ещё одну бутылку, а ему завтра на смену. Не встанет. Тогда она вылила.

- А потом убежала?

- Да. Он очень разозлился, - помолчала, - дружок сразу засобирился. Испугался, наверное, в семейные дела лезть. И чёрт с ним, свалил и свалил. Но потом и он тоже вдруг одеваться стал.

- Ты одна сидишь? Не страшно?

- Нет. Они и раньше уходили. Мама у бабушки ночевала. А он – где-то. А ещё раньше его не было. И ничего.

- Может быть, к тебе прийти?

Папа разрешит. Верю, разрешит.

- Нет, - молчит, - стой, я ключ в двери слышу. Кто-то идёт. Пока.

- погоди! А вдруг это он, пьяный?

- Ничего.

Алина повесила трубку.

К лучшему. Это наверняка не он – зачем ему в квартиру к падчерице возвращаться. Это мать – поплакала у подружек, успокоилась. Те вразумили – мол, что ты дочку-то одну в квартире оставила. Слезы вытерла, губы накрасила и пошла.

И не до разговоров, потому что нужно пирог печь.

На кухне мама разбирает магазинный пакет.

- Ань, а масло? Без масла пирога не выйдет.

- Я не знаю. Я забыла. А нет?

- Нет, кончилось.

- Так я опять схожу.

Папа входит и говорит – не надо, сбегаю утром. Всё равно пирог лучше завтра печь, чтобы тёплым принести. Эх, а для стариков-родителей ты бы нипочём пирог печь не стала.

- Пап.

- Ладно, шучу я. Пойдёмте фильм смотреть – после новостей начнётся.

Я не смотрю их фильмы, но отчего-то захотелось пойти.

Что я хотела сказать Алине?

Что услышала от его мамы, не от него. Что это не insult. Что insult был, но раньше. И тоже на спектакле, я забыла название. А сейчас сказали, что... Делали специальные снимки головы и сказали. Она вроде и говорить не хотела. Но я с короткой стрижкой и с маминой косметикой показалась до того взрослой, серьёзной, что сказала.

Захожу в комнату родителей и сажусь на диван рядом с мамой. По телевизору уже идёт фильм с Ларисой Гурченко, которую мама очень любила раньше, а теперь не знаю.

- Пришла всё-таки. Посидим как раньше, все вместе. Когда рекламу будет, чай вскипятим. Сбегаешь, Ань?

- Сбегаю.

Почему я хотела сказать Алине, не папе?

На экране сорокалетняя женщина сидит на деревянной скамейке.

Сейчас встанет.

Сейчас встанет.

И я пойду заливать кипятком чёрный чай в заварочном чайнике, а папа так по привычке и покупает «Принцессу Нури», и не переубедить его.

Людмила Гурченко встала, когда я чашки принесла.

Саша сказал, что пока не может выйти и дома.

Некоторое время.

Так и сказал – некоторое время.

Но сказал, чтобы я учила, пока его не будет – романс, арию, народную песню. Говорит, что поющим актёром нужно быть, танцующим актёром нужно быть. Романс мы выучили – тот самый, а к остальному не знаю, как подступиться.

Его мама сказала мне, что не может из дома выйти. Что ноги.

Думала – у меня первой ноги откажут, плакала его мама. От выпивки откажут, от работы тяжёлой – знаете, девочка, я по молодости официанткой работала, а там всё на каблуках, и тяжёлые подносы таскаешь. Но у меня не отказали.

А у него.

Врач сказал – сеансы массажа брать.

А у кого брать, когда по больничному в театре его сущие копейки платят. И на лекарства толком не хватает, и на еду. На пенсию мою живём, выживаем. А он храбрится – в интернете какую-то работу нашёл, вроде как снова учить кого-то. Не может сидеть дома.

Не может.

Я пошла к папе и сказала:

- Сколько стоят курсы массажа? Меня могут научить?

- Я не знаю. Могу. Любого могут. А зачем тебе?

- Нужно.

Папа помолчал, открыл браузер.

- Ну есть что-то. Курсы медицинского массажа. Двадцать тысяч за три месяца, даже сертификат какой-то дают. Ты ведь и сама могла посмотреть.

- А деньги?

- Тебе это очень нужно?

Я посмотрела на маму.

Мама смотрит на Людмилу Гурченко, но слушает нас. Думаю, что двадцать тысяч у них накоплений всего с папой и есть.

- Хорошо, иди на курсы, - сказала мама, - что ж теперь. Иди.

Мне хочется сказать ей – и папе – что-то важное, хорошее, чего не говорила никогда. А что сказать-то? Что Саша всегда напоминал, что домой пора идти, чтобы родители не волновались? Что Алина однажды расплакалась и сказала, что, если бы у неё такие родители были, то она бы и училась хорошо, и музыкалку закончила, и в своей комнате каждую неделю пылесосила и полы мыла – сама, без напоминания? Что завтра день рождения Саша, и как мы встанем все утром светлые, чистые и радостные, как выйдем в кухню под солнце, что из восточного окна заливает ярким и ослепительным – и стол, и табуретки, и маленький диван, который иногда разбирают для ночующих гостей?

И сама знаю, что жду дня его рождения как-то не так, неправильно, неестественно – ведь не мой же праздник, я не имею к нему никакого отношения. Я даже про Павла не знала. Вспомнила только, что до странности невысокий он, на полголовы всего и выше меня. Может, ему и удобнее оттого на сцене – верткий, шупленький. Но только Сашу за мальчика принимали, а не его.

- Ты бы спать легла пораньше, - говорит папа, - утром же пирог печь. Встанешь с солнышком, и хорошо будет. А мы телевизор потише сделаем.

И тянется к пульту. А я не слышу ничего – иду в комнату, проваливаюсь в белое, выстиранное, спокойное. На подушке нарисовано звездное небо, выцветшее уже немного – давно-давно мама купила в «Ивановском ситце» - но в темноте не разглядеть.

Завтра я включу какой-нибудь концерт или оперу по радио «Орфей» и буду готовить пирог.

Растопите на водяной бане сливочной масло.

Добавьте сахар.

Потом смешайте все сыпучие ингредиенты в миске и медленно влейте...

Медленно влейте, непрерывно помешивая...

Легко дышится в комнате, легко пахнет стиральным порошком, ветер едва колышет занавески из плотной ткани.

Мне снится ярко-зелёное, горько-солёное, тихое

море

которого мы никогда не видели.

*

Сидели с ребятами после предпоказа дипломного спектакля в лапшичной на Арбате, шумели. Вначале молчали, потом раскричались, разошлись. Расслабились. Никто сразу не скажет, скажут завтра.

Алёнка разливает под столиком водку в чайные стаканы. В лапшичной водку не продают – они спрашивали. Да если и продают – никто не купит. Куда как проще в магазине купить, принести. Но обычно во всех кафе следят, ругают, могут даже выгнать. В лапшичной – нет. Привыкли.

Наверное, Алёнка могла бы и вовсе бутылку на стол поставить. На столе негусто – салат из капусты, пирожное «картошка», разрезанная на четыре кусочка. Какие-то макароны – Саша взял, не выдержал, хотя в их столовой можно было бы поесть дешевле. Но такое после спектакля чувство – сосёт под ложечкой, в висках стучит, хотя и просидел два с половиной часа на первом ряду.

Не дышал.

- Ладно, ты молодец, Санёк, - говорит Алёна, - стаканов нам тут больше не дают. Только три, для чая. Но ты пей из моего.

- Я мало пью, - говорит Саша.

- Отстань. После спектакля? После спектакля надо много пить. Иначе будешь предатель. Я серьёзно говорю.

Саша, конечно, научился пить водку, а однажды в общежитии попробовал одеколон, разбавленный водой, но потом до утра кружилась голова и тошнило тошнливо, противно, и ничего не хотелось.

Они не чокаются, но не потому, что кто-то умер – официантка стала смотреть настороженно, как будто не понравились разговоры.

- Я помню, как мы сидели и придумывали, - говорит Алёна, - помню. Было тепло, мы на лавочке были. Тогда ещё дом на улице Гурьянова взорвался. Вы помните?

- Помним-помним, - Дима перехватывает под столом бутылку, - давай сейчас не будем об этом?

- Почему не будем, - Алёнку не отдаёт бутылку, хмурится, - я тогда не хотела участвовать. Не спала.

Все знали, что Алёна не спала. В сентябре она поехала в гости к родственникам, а те через дом жили. Так и что слышала, и видела, и ходила вместе с мужиками по вечерам чердаки осматривать и подвалы. Находила сломанные детские игрушки, трупы кошек, стекловату, пустые чёрные сумки. Из-за чёрных сумок и боялись больше всего. Девушкам и парням молодым велели выйти из подъезда, кто-то проверял – постарше, поспокойнее.

Какой-нибудь бывший милиционер или тот, что институт с военной кафедрой заканчивал. Ничего не находила и шли по квартирам. Спали беспокойно, от шорохов вздрагивали.

По телевизору каждый день показывали фоторобот мужчины с чёрной короткой бородой, и Алёна включала новости и всматривалась, всматривалась. А потом в метро. И на улице. Даже в институте.

Потом кто-то заметил, тревогу забил. Наверное, родители, хотя поначалу и списывали на впечатлительность – студентка актёрского факультета, тоненькая, мечтательная. Но потом, когда совсем спать перестала, замолчала – забеспокоились, стали звонить знакомым, врача искали. Отвезли к дорожному психиатру, который разговаривал с Алёнкой два месяца, выписал таблетки, потом другие таблетки. Потихоньку и спать начала, и улыбаться. А когда Саша подошёл в столовой и спросил – я в вашей мастерской хочу спектакль делать, хочешь роль? – согласилась сразу.

Но и теперь отводила взгляд, когда мужчин с короткой чёрной бородкой видела. С этим врач ничего не смог поделать.

- Я потом мимо курилки проходил и слышал, как преподаватели общались. После спектакля, - Саша заговорил, потому что после Алёнкиных слов молчание тревожное повисло, - они ничего не сказали. Ничего. Даже не смеялись. Я не знаю, почему.

- Всё зашибись было, - говорит Дима, - что скажешь. Но может, кто из стариков не понял. Но остальные просекли, ручаюсь. Это что-то совсем новое, и они это понимают. Вот и молчат. А что твой мастер?

- Я ему позвоню. Вечером. Или завтра. Не виделась после спектакля, потому как... ну, не до того было.

- Ясно. Страшно. Всем страшно, - Алёна, не стесняясь, ставит пустую бутылку на стол. Официантка смотрит, но молчит.

- Ты страху не нагоняй, - Дима берёт пластмассовую вилку, делит третью часть пирожного ещё на две части.

- Ты ешь, что тут делить, - Алёнка двигает тарелку со сладким ближе к Диме. Он полноватый немного – сладкое любит, а родители ограничивали вечно, вторую ложку сахара в чай не давали положить. Он из провинции, Саша не помнит, откуда. В общаге Диму все девчонки сладостями подкармливали – и когда сами пекли, и когда покупали. Потому пирожное «картошка», в целом невкусное всем, и лежало столько, хотя салат из капусты они съели.

- Могла не соглашаться. Ты сценарий видела?

- А я что, разве не понимаю. Не дурочка.

- Не дурочка, - кивает Дима, - но не понимаешь, что наш-то друг делал экспериментальный спектакль. Делал протестный спектакль. И если сейчас мастера просто поставят пятёрку, похлопают по плечу – мол, молодец, мальчик, не зря было – как тогда жить-то? Когда хотел взрыва – прости, Саш. Когда хотел сказать – вот она, ваша демократия, дышите. А дышать нечем.

- Вообще не такая дурочка. Сейчас не то время, никто не потащит его в кабинет, никто объяснений не потребует. Тем более, что всегда можно списать на – не знаю, новую символику, манеру. Если бы не в учебном театре, тогда понятно... А так – кого интересует безвестный студентик? У нас народные молчат. И долго ещё молчать будут.

- Все знают, почему дома взрываются. Все знают, - Алёна встаёт, - пойду спрошу – может, у них бутерброд какой есть. А то нельзя так.

- Да я с тобой макаронами поделюсь, седи, - Саша отдаёт девушке вилку, - ешь спокойно. Мне много.

- И закусывай давай, - подхватывает Дима, - если говоришь, что все знают – что тогда орёшь на всё кафе? Дома, дома. Подъезды. Обсудили уже, будет.

- Макароны, Алён.

Алёна берёт вилку и ест. Потом поднимает голову:

- А почему мы к тебе в буфет не пошли? Ты ведь в буфете работаешь?

- Работал. Но это на Казанском вокзале, далеко. Да и дороговато там.

- Я думала – тебе там вообще бесплатно...

- Теперь нет. Я уволился три недели назад.

- Почему?

- Он институт закончил, балда! – вмешивается Дима, - ему в театр надо идти работать, а не в буфет.

- Кто его теперь в театр возьмёт, - Алёна возвращает Саше миску с макаронами, - остыли.

- Дура. Саш, мы пойдём. Не обидишься? Она лыка не вяжет, - Дима берёт Алёну за руку. Они пять лет встречаются. Не поженятся только никак – то ли назло родственникам, то ли боятся, что семейную комнату в общежитии не дадут. Алёна-то москвичка. Но у неё жить негде.

- Он обидится, конечно. А если в театр надо идти работать – то объясни, почему никто не пошёл отмечать? Почему только мы?

- С моей мастерской мы через две недели сидим, как все спектакли пройдут. Не у меня одного. Я не обижусь, - Саша кивает Диме, - тоже сейчас пойду.

- Не сиди один. Правда, надо было твоих дожидаться. А то она тебе наговорила, а ты ни в чём не виноват.

- Наверное.

Отпустил без сожаления, разве что с тревогой. Но Дима сильный, высокий – дотащит, от приключений уберёжёт, не даст ни с кем сцепиться.

Они дружат втроём с первого курса, но всякий раз, глядя на Диму, Саше кажется, что это Гоша, не ответивший на четыре письма, вернулся из Чечни и снова стал жить со Светкой, которая ходит в кофте на маленьких пуговицах, и всё хорошо у них, хорошо.

И даже в спектакле были хороши, хотя Саша сомневался. Долго.

Саша доедает макароны и убирает посуду на особый столик. Официантка кивает – уже забыла про водку, про разговоры громкие, и что еды на суши копейки заказали, пирожное одно на всех разделили.

Что-то было не так сегодня – в спектакле и вообще, так хотелось встать из полупустого зрительного зала, подняться на сцену, вплести себя, вплести себя в повествование, которое придумал, но видел, что ребята не справляются, не справляются. И разве в ребятах дело?

Алёнка думала о домах на улице Гурьянова.

Дима думал о том, почему он должен встречаться с Алёнкой раз в две недели в пустой комнате какого-нибудь приятеля.

Николай думал об Оле, которая на него, весельчака и забавника, не смотрит.

Ян напевал про себя.

Если и удивился чему – что головная боль стихла, отступила. На всё время, пока декорации монтировали, переодевались, пока спектакль шёл. И вернулась только сейчас – когда Дима с Алёной вышли.

Прижал ладони к вискам.

А как придумывал декорации, бегал, договаривался!

И сумел – на сцене не было ничего: ни диванов, ни покрывал с золотой бахромой, ни канделябров. Пустая сцена была, чёрная, помертвелая.

Актёры вышли в окровавленных сорочках, халатах порванных, засыпанных раскрошившейся штукатуркой – постарался скопировать фотографии из газет, ничего не выдумав.

Только на заднике огромная фотография нового президента.

Так и ходили перед нею, и говорили, и оглядывались. Смотрели через плечо испуганно – как будто и *он* смотреть может.

Хотя портрет обычный, напечатанный на гладком дорогом ватмане. Свои деньги отдал. Маме не говорил.

Он их просил не оглядываться.

Он Алёну просил не оглядываться.

Он Диму просил не оглядываться.

А мастер сидел во втором ряду и смотрел, и не двигался, а после поднялся и ушёл – Саша не стал догонять, да и что тут спросишь. Сказал, что хотел, что носил в себе, ощущал.

А чтобы с кафедры ответственность снять – выбросил первый лист утверждённого сценария с подписью мастера, другим заменил. Вечером вошёл, когда только секретарь в кабинете был. Сказал – расписаться велели, вот и пришёл. А сам листок подменил. Никто не заметил.

Но если придут разбираться – заметят, что диплом не подписан; а значит, ошибка, какая-то ошибка, некого искать, некого наказывать. Есть только пятикурсник – он здесь, он живёт в Москве, его адрес и телефон есть в личном деле, место работы матери есть в личном деле.

Впрочем, мать не работает уже.

Но кому интересно.

Значит ли это, что поступил неправильно, предал?

Станислав Георгиевич не узнает. Он старый потихоньку становится – то не заметит важного, то про какой-нибудь творческий вечер забудет. Однажды к нему даже прямо на пару пришла женщина из бухгалтерии и сказала, что ему давно пришёл аванс, и надо бы прийти, забрать и расписаться. Он раскраснелся весь и благодарил её – даже руку поцеловал, точно даме. А женщине из бухгалтерии лет пятьдесят пять – она ничего, улыбчивая. Она и стипендии выдавала.

А если представить на секунду, что мастерская после предпоказа одобрит постановку такой, допустит до диплома, и они сыграют ещё лучше, ещё правдивее и страшнее, и что Станислав Георгиевич кивнёт ему после – всё правильно, мальчик, так и надо – и как он придёт к маме, как скажет: мама, я сегодня диплом защитил, я режиссёр театра и кино, мама, взрослый.

*

А кто к Алине пришёл вечером, кто?

Открываю глаза, смотрю на часы со светящимся циферблатом.

2:43

Закрываю глаза.

2:48

Ведь не мать вернулась, это ясно. Мать боялась отчима, не хотела оставаться с ним в квартире. Наверное, звонила на домашний, хотела, чтобы Алина к бабушке пошла или к подругам.

Хотя бы ко мне.

Почему я не позвала?

Папа бы согласился сразу.

Мама подумала бы, но потом – тоже. Знают Алину хорошо, а в началке так и вовсе вместе в школу шли – папа провожал меня и её. Всё равно по дороге, и удобно. Мама её всегда благодарила, звонила. Маме отвечал вежливо, внимательно, отмахивался – да чего вы, мне и самому веселее идти, и девчонкам радость. Вон вчера на математику опаздывали, бежали – вы уж простите нас. Алина не рассказывала?

Моя мама не любила таких разговоров, и потом, уже в седьмом классе, я поняла, что она просто ревновала папу к этой женщине, – которая, как и мы, ходила на рынок за овощами, красила волосы в парикмахерской, стояла очереди в районной поликлинике. Но она несчастная, обиженная. Разведённая.

И отчим у Алины появился не сразу, а когда мы в третий класс пошли.

3:00

Алина говорила, что стал вечерами мужик на кухне сидеть, маме про тяжёлую жизнь рассказывать – что на автостоянке сторожем работает, и ночует там же, в домике, даже если смены нет. Что ест «Доширак» с белым хлебом, и что супа, женщиной приготовленного, хочется. Мама жалела, готовила. Потом и ночевать остался.

Потом привёл дружков. Они на диване красном, пружинном, сидели, на табуретках, покрашенных ещё дедом Алины, на стульях, принесённых из большой комнаты. Некоторые были ласковые – даже приносили Алине шоколадные дешёвые игрушки и конфеты. Некоторые не замечали. Но она не заходила – чайник не ставила на огонь, пельмени не грела. Мать однажды заставила пообещать – что не войдёшь, когда компания, когда меня дома нет. Алина поняла.

Потом приятели чувствовали себя как дома, ходили мыться в ванную, развешивали одежду на батарею.

А потом она вылила водку из бутылки в раковину, и он её ударил...

Почему Алина не перезвонила? Я же просила. Или нет?

3:05

Почему-то кажется, что делаю плохое – подумала не о Саше, а об Алине, которая не любит его мастерской, его кукол, его голоса. Не то чтобы совсем не любит – нет, выслушивала меня, жалела, и несколько раз в театр вместе приходили – но не помнила ни одной песни, ни одного стихотворения.

Я думаю, что к Алине вернулся отчим.

Может быть, за вещами.

Может, ещё зачем.

Уверена, что Алина, услышав ключи, и дверь, и пьяное бормотание, сразу же закрылась в своей комнате и легла в кровать, не раздеваясь. Она говорила, что никогда не переодевается ко сну – ни сороки, ни пижамы, ни даже футболки старой, ничего такого. А почему?

3.06

Когда мы встретимся в школе в понедельник, я спрошу.

*

А помнишь – у меня был золотой галстук, глупый золотой галстук, который ты не любила и смеялась – а не подарили какие-нибудь старушки, которые до сих пор вязаные чёрные шали носят, брови в ниточки выщипывают, сладкими духами пахнут?

Никто не дарил – сам купил на стипендию, потому как с мамой ничего красивого и нарядного не покупали, кроме школьной формы. И я любил этот галстук – надевал потом по праздникам в театр, к любому пиджаку, к любой рубашке.

Помнишь, как мы по Поварской гуляли, по Гоголевскому бульвару, по Арбату, и ты говорила, что я куклам наряды лучше подбираю, чем себе, что такого не носит никто? Что, если бы кто из учителей такое на себя напялил, то лучше бы ему и вовсе было в класс не заходить?

Но потом простила, успокоилась. Про себя что-то вспомнила, про свою лиловую юбку, которую – видит Бог – я не мог не похвалить в нашу первую встречу, потому что была она и яркая, и смешная, и слишком длинная и широкая в поясе для такой маленькой девочки. И мы не обсуждали больше, а только бульваром, который весь в серебристо-зелёных сережках неведомых деревьев был – ты знала их название, а я нет. Я никогда не ничем таким не интересовался.

Но вот в чём дело – я почему-то вспомнил, как ездил покупать этот злосчастный галстук, как на метро ехал, а потом долго шёл пешком, стараясь не задеть никого.

Суббота, Черкизовский рынок, солнце огромное и липкое, под воротником нейлоновой ветровки, которую надевал зачем-то и в самую жару, горячо.

Шапки, шапки, натуральный мех, слушай, самый натуральный мех, говорили вокруг.

Дублёнки, тысяча рублей, тысяча рублей, только для тебя, дорогой, говорили вокруг.

Подарок маме купи, платок подарок маме купит, говорили.

Я остановился возле первого же прилавка – сразу же подскочил высокий чернявый парень в спортивном выцветшем костюме.

Что хочешь? Что? Показывал на вещи, на гору вещей, но мне сложно было отличать одну от другой – кружилась голова от солнца, от людей, от голубей, от запаха.

Мне галстук нужен.

Тихо говорю.

Чернявый сразу же достал откуда-то целлофановый пакет, полный галстуков – и выкладывал, выкладывал на прилавок, пока я не кивнул – этот, мне этот нравился.

Хотя я ни цвета не успел заметить, ничего.

Чернявый сказал – девятьсот рублей. Мама потом ругалась – мол, дорого, надули тебя, но я не умел спорить о цене. Дал деньги и унёс галстук. И только в метро стало прохладнее, спокойнее.

Так вот – я в этом галстук на восьмидесятилетний юбилей Станислава Георгиевича приходил.

В нём в театр пришёл устраиваться. А когда вернулся домой, к маме – увидел, что она не пьяная, а усталая, и рядом с ней на табуретках соседки сидят и молчат. Что случилось, спросил. Не мама ответила, а тётя Катя. Ей родственники из Мурманска написали, сказала. Написали, что Сергей умер. Не то от сердца, не то ещё от чего.

И хотя они не видели папу больше двадцати лет, но сидели и молчали рядом на табуретках, и я не думал про нелепый яркий золотой галстук.

Только потом соседки матери сказали, когда провожать их на площадку вышла – ишь как на поминки вырядился, совсем с умишком плохо. А мама дверь закрыла.

*

А потом закончилась гражданская панихида, и золотой петушок на больших часах театра запел. Я остановилась, и папа остановился, и мама обняла меня за плечи, а Алина посмотрела на нас.

Так стояли и слушали, стояли и слушали, как маленькие.